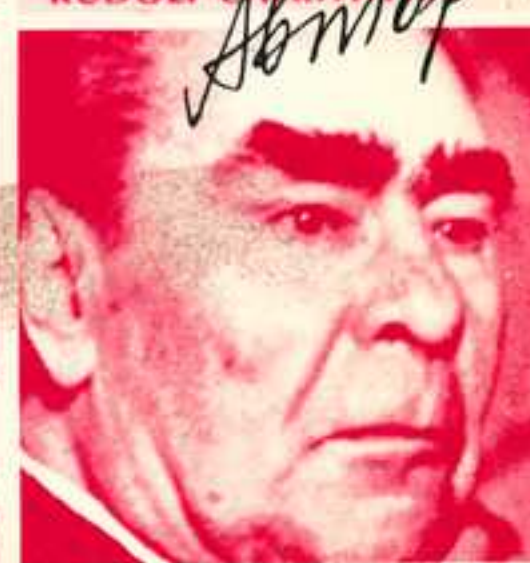




ADIMIR ZINAKIN

RUDOLF CHIRNYAYEV

VALDIK ENGE



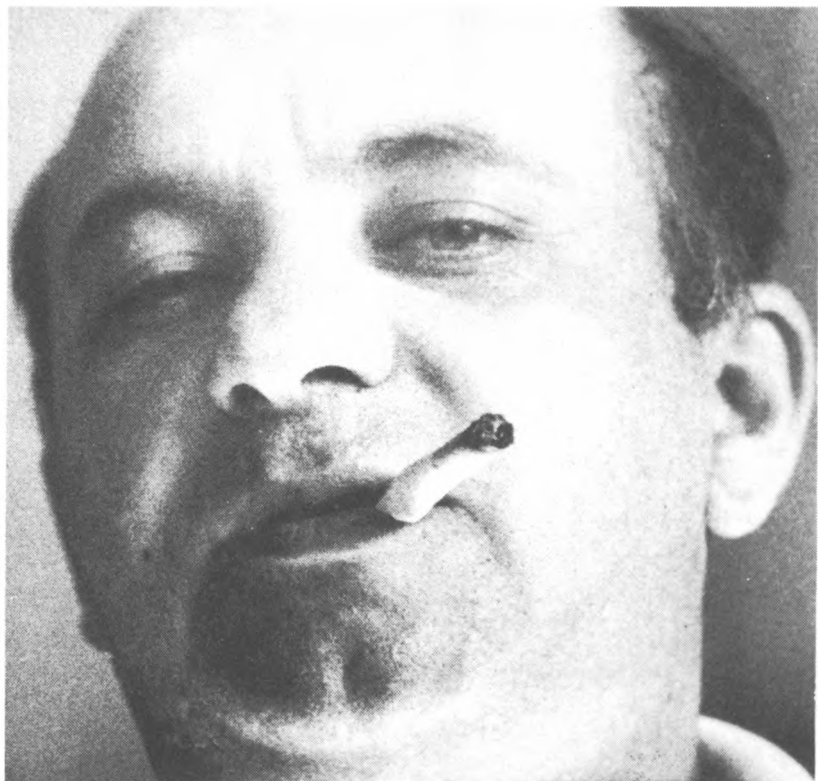
Павел Леонидов

Операция «Возвращение»

*Моему единственному сыну
Васе — американцу!*

Еврей — не национальность,
а — способ мыслить.
Из меня.





Теперь я бросил курить. Автор

Павел Леонидов

Операция «Возвращение»

Повесть



Русское книгоиздательство

«Нью-Йорк»

1981 год

New York

Pavel LEONIDOV

OPERACIY "VOZVRASHENIE".

© for the Russian language edition
1981 NEW YORK BOOK PUBLISHERS.
All rights reserved.

© 1981 by Pavel Leonidov.
Cover design by ANY TYPE.

ISBN: 8185765

OPERATION «RETURN»

OPERATZIA «VOSVRATSHENIE»

«...Ко мне постучался презренный еврей,
Я дал ему злата и проклял его...»

А. С. Пушкин

«...Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?»

Б. Л. Пастернак

«...А мне плевать, мне очень хочется...»

В. С. Высоцкий

НА ПОДСТУПАХ К ПОВЕСТИ

«Нельзя объять необъятное!» Это — ко всему годно. И к истории евреев. Маленький исторический факт из еврейской истории — эмиграция евреев из СССР, факт не такой уж маленький, если взглянуть не на его объем, а на его заряд.

Мы — первые!

Мы — не первые евреи, уходящие, но мы первые люди, уходящие из подопытной зоны с разрешения экспериментаторов. Почему они это разрешили? Не надо, видимо, усложнять вопрос. Но и не надо его упрощать. Помимо нужды экономической и в какой-то незначительной мере политической, они испытывали и испытывают нужду в чем-то еще, ждут от этого исхода каких-то результатов.

Выпущена часть русского народа еврейской ментальности — так тоже говорят, хотя это — бред. Но в нем что-то есть. Не случайно я взял эпиграф составной, обращая внимание не столько на мысли, сколько на тех, кто эти мысли высказывает. Пушкин А. С. говорит, как нынешний араб. Или — как русский из девятнадцатого века. Он ведь тоже русский, но арабской ментальности. Б. Л. Пастернак — православный, еврейской ментальности. Глядит и мыслит, как еврей. Он меряет меркой тысячелетий.

И, наконец, Владимир Высоцкий, по крови — метис: отец из украинских евреев (прадед из Ржищева), мать — чистокровная русская, впрочем, возможны и татарские примеси, ибо родом ее предки откуда-то с самого края Золотого кольца, за Владимиром где-то, но это — недостоверно. Вот у Высоцкого захлест, напор, темперамент, накал — еврейские вроде бы, но ведь все это внутри сидит и у русских с татарской закваской, однако из троих названных — Высоцкий самый русский, а другие оба — ближе к Западу все же.

Наша эмиграция волоком протащила на себе и вытащила целую плеяду «гениев». Самозванных, хотя среди них есть и подающие хоть на что-то надежды. Эти подающие надежды — снобы. И наглещы. Я обхожу их в повести, ибо мне интересен рядовой еврей. С ментальностью, но без полярностей.

Я тут к Бродскому Иосифу через людей обратился. Хотел выяснить кое-что о его встрече с Володей Высоцким, чтобы мнения в книге о Высоцком взять с двух сторон. Я-то полагаю обоих их поэтами разного, но среднего и равного ряда. По-русски, конечно. Что там пишет Бродский по-английски, не моего ума дело. Собирал я мнения их о состоявшейся между ними встрече. Володя мне свое — сказал, а Бродский — не пожелал. Передал — занят. Что я могу сказать по этому поводу. Есть в нас эдакое. И я люблю Пастернака. И не люблю Бродского.

В следующей книге «Тоска в области сердца», которую пишу, я как раз хочу обратить наше внимание на нас самих. Ибо мы, знающие все обо всех, о себе не знаем ничего. Мне нравится А. Львов, несмотря на его «сексуальные отклонения», хотя это и не отклонения. На Западе создают порнофильмы, издают журналы, владеют бардаками — евреи. Секс — наша любовь, наш бизнес, увы, наша жизнь, иногда. Мы любим женщин. Всяких и разных. И про это можно писать. Кто хочет. Можно хотеть женщин, можно про них писать. А. Львов, помимо секса и прочего, все время анализирует себя через других. И это — верно. Так я думаю...

Русский антисемитизм сам по себе не оригинален. Разве тем, что первые еврейские погромы произошли при Владимире Мономахе, то есть чуть позднее крещения Руси при Владимире Святом.

О чем это говорит? Может, о достаточно ранней цивилизации Киевской Руси, ибо цивилизация, расцветая поэтапно, на каждом этапе своего подъема била евреев. Кто сомневается, пусть перечтет европейскую историю и убедится.

Все, что пишу в предисловии, — густо, спутано, намешано-перемешано и понахватано отовсюду. Не скажу, что специально делаю это. Скорее, запас моих знаний — бессистемен, желание сказать — неудержимо, эмоциями — пруд пруди, но «У евреев всегда, как не у людей! Вон Бегина большинством в один голос выбрали. И это — в такой момент!» — сказал мне еврей. Я ему не ответил, а сейчас скажу: «Товарищ, еврей! Дело в том, что как раз у евреев все, как у людей. И может, именно это — плохо. В самый кризисный период Великой войны английский премьер и главнокомандующий Уинстон Черчилль получил во-

тум доверия всего одним голосом. А Рузвельт «пробил» спасение союзников — «ленд лиз» тоже большинством в один голос. Вот так».

С евреями всегда путаница, но нынче с этой эмиграцией и со всей путаницей в ней есть одно, а именно: то, что нынче — последний исторический исход евреев.

Больше — неоткуда!

Больше — некуда!

С этим я и приступаю.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ, ВЛАДИМИР СВЯТОЙ И ТРИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Ассоциации — дикий плющ.

Растут из памяти, тянутся по стволу жизни, обвивают его, стискивают ветви, свисают с них в пространство, ища опоры.

Это кудряво, но без этого не могу начать. Сам не знаю почему. Может, потому, что на днях прочел в одной газете свою фамилию. Она упоминается в связи с тем, что три года газета Новое Русское Слово меня не печатала. И не упоминала моего имени. Последнее — не правда, а первое...

...История эта началась, видимо, со времен нашествия татар и исхода евреев из Египта. И не прекращается до сих пор.

Я расскажу лишь маленький, крохотный ее кусочек. Расскажу, потому что он про нас с вами, про тех, кто живет в Израиле и на Западе. И про тех, кто остался там, в России.

История эта имеет довольно неожиданный и рискованный поворот в конце. Потому, наверно, она в какой-то мере — детектив. Еще я могу считать ее исповедью, где должен многое опустить по разным причинам, одной из которых являются длинные руки советской власти.

Процветания и разрушения государств за последние две тысячи лет связывались с евреями, проживающими в них. Так или иначе. Иногда евреев возвышали, чтобы уничтожить потом. Иногда начинали с их уничтожения, чтобы каяться потом. И ввозить их из-за границы.

Евреи во все минувшие века были, как нефть. Необходимы, но чреватые, нужны позарез, но дороги.

И дешевы, как сама жизнь.

Я — Скажите, пожалуйста, вы помните историю, которая произошла с вами в июле семьдесят пятого года? Вы тогда жили на Брайтон Третьей? Да, да, верно. И вы тогда хотели возвратиться в СССР? Нет, ваша фамилия фигурировать нигде не бу-

дет. Минуточку, сейчас возьму ручку. Говорите...

Он — Вспоминать не хочется. Тошно. Однако скажу. Лифт вниз не поднимает. Битую посуду не склеишь. Покойников не носят назад, тем более живым нечего делать в прошлом. Да еще в таком, какое было у нас. Вот, пожалуй, и все.

Я — И последнее: вы помните Валерия Кувента? Да, да, того самого, что был человеком советского посольства на Брайтоне, раздавал анкеты на возвращение.

Он — Конечно, помню. У него — трое детей, жена и мать. Они из Нальчика. Поехали в Израиль, оттуда удрали. Приехали сюда. После его пустили назад. Я у «Виктора Камкина» купил «Белую книгу». Так он там есть. И речь его. И фотографии. Простите, но и ваша фотография там есть...

Поверите, но я ничего не знал тогда о «Белой книге», выпущенной в СССР в 1979 году издательством «Юридическая литература». Бросился искать. Нашел. И увидел в ней свою фотографию из американского журнала «Нэшнэл Ревю». Эта фотография предпосылалась первой статье моего цикла «Здравствуй, Америка!» В переводе Айвена и Марии Ландон, чудеснейших, добрейших людей. Делали они перевод со статей из НРС. Этот цикл был перепечатан израильской газетой «Наша страна» и... «Литературкой», но последняя, следуя жизненным своим установкам, перепечатала «выдержки», из коих следовало, что все уехавшие из СССР на Запад плачут горючими слезами. А ведь цикл был резко и остро антисоветским. Но мне обижаться за «выдержки» не след. Они Владимира Ильича кромсают каждую пятилетку по-разному, а я-то кто такой для них? Ренегат и все. Была в книге масса других фотографий. Штук двадцать — портретных. Бумага в книге — жуткая, а текст?! Впрочем, обычный текст из «Правды». Нет, в «Правде» посолондней чуть лгут. Пограмотней...

...И нашел я в «Белой книге» знакомое лицо Валерия Кувента. И его, узнаваемая до тошноты, речь, написанная в агитпропе. Знакомая мне и всем нам.

Сейчас, решив написать эту повесть, я, никогда не рвавший книг, выдираю страницы с портретом и речью Кувента и пишу на полях. Пишу для будущего редактора и наборщиков:

«Сразу после этих слов должны полностью быть пересняты эти две страницы»... И вот они перед вами. И это и есть начало детектива, за кулисами которого, помимо выведенных лиц, прочие, неназванные, и еще Маркс, еврей, попавший в историю Российскойскую по трагическому стечению обстоятельств, утверждавший, что евреи еще страшней оттого, что сами не пьют, но владеют винокурнями. Это — особо злободневно нынче, ибо евреи в СССР не владеют винокурнями, пьют, как сапожники, а их все

одно бьют и гонят, но повесть не про это, естественно, а участвуют в ней (вне алфавита):

Владимир Ильич Ульянов-Ленин (Вечно живой)

Владимир Ильич Тарло — санаторный врач из города Ялты

Владимир Ильич Пожаров — работник советского посольства в Вашингтоне.

По алфавиту:

Александр Александрович (партийная кличка, а подлинное имя мне неизвестно. Высокий начальник Владимира Зенякина, шпиона, высланного из США в 24 часа).

Владимир Высоцкий.

Александр Галич.

Голышников — второй человек в посольстве СССР в Вашингтоне, который любит говорить: «Мы с Добрынином дуем, полагаем, решили...»

Альберт Иванов

Валерий Кувент

Макс Конный

Юрий Карлович Олеша

Веня Рискин

Иосиф Ройзман

Григорий Рубенчик

Михаил Аркадьевич Светлов

Ефим Севела

Андрей Седых

Владимир Шпаньрь

Я, а также многие другие евреи и неевреи, которых я, не называя и гримируя, вывожу на сцену под чужими именами или без имен по целому ряду причин.

Также особо, под занавес хочу отметить, что операцией «Возвращение» занимались еще два Владимира.

БЕЛАЯ КНИГА

В Москве в издательстве «Юридическая литература» в 1979 году была выпущена «Белая книга». В ней использованы материалы КГБ и МИД, и таким образом адвокаты, а они поголовно, за малым исключением, евреи, вступили в союз с дьяволом против себе подобных...

«Я вернулся в Советский Союз из Соединенных Штатов Америки, куда бежал из Израиля со своей семьей — женой, матерью и тремя маленькими детьми. Бежал, потому что понял: сионисты тянули меня к соучастию в их преступлениях. Как только оказываешься в Израиле, ясно осознаешь, что ты и твоя

семья нужны им для того, чтобы легче осваивать оккупированные арабские земли. Переселенцами заселяют незаконно захваченные территории. Но нельзя спокойно жить на земле, зная, что отсюда изгнаны сотни тысяч людей, которые ютятся в палаточных лагерях и трупобах, бомбардируемых израильской авиацией.

Организация Объединенных Наций осуждает агрессию Израиля, требует освободить захваченные территории. ООН приняла резолюцию, в которой заклеила сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Я сам убедился в глубокой правоте этих решений. Израиль — расистское государство, и нам, советским евреям, делать в нем нечего. Они хотят использовать нас как чернорабочих и как пушечное мясо.

Мне, например, отцу троих детей, было прислано несколько повесток из израильских военкоматов. Последняя повестка гласила, что 19 августа 1973 года я должен прибыть с вещами на сборный пункт для отправки в армию. После этого я тайно выехал из Израиля. Мы плыли в Италию пароходом. Наши спутники, выходцы из Киева, освободили от вещей большой чемодан, чтобы я мог в нем поместиться. Мы боялись, что меня могут снять с парохода, потому что я не имел разрешения военкомата на выезд из Израиля. Так я плыл в чемодане до Кипра, его владельцы сидели на нем.

Мы знали, что в армию забирают насильно. Брату моего товарища, тоже из Нальчика, при этом, например, надели наручники, другого взяли, несмотря на то, что он был с одним глазом. Ему сказали: «Моше Даян тоже с одним глазом, а носит военный мундир».

Израильтяне, коренные жители, хотят, чтобы за них воевали другие. В Америке я встречал много израильских парней. Они бегут из Израиля от военного призыва. В прошлом году убежало больше 20 тыс. человек. Я их спрашивал: почему вы здесь? Они отвечали: а где же нам быть? Вы, русские Иваны, едете в Израиль, вот и воюйте.

Должен сказать, что повестки в армию я стал получать после того, как отказался служить сионистам. Когда мы приехали в Израиль, мне предложили выступить по радио «Голос Израиля» о тяжелом положении евреев в СССР. Я ответил, что в Советском Союзе евреи живут хорошо. Сам я, к примеру, имел свой дом, сад, работу, ни в чем не нуждался. Тогда мне вручили готовый лживый текст. Я отказался прочесть его перед микрофоном.

Мне предлагали также совершить турне по странам Европы и США с сообщениями подобного содержания, чтобы мобилизовать общественность Запада на борьбу за выезд евреев из СССР.

Обещали высокие гонорары. Когда я отверг и это, меня стали преследовать агенты «Шинбет» — израильской тайной полиции. Мне грозили, что убьют моих детей.

В США меня продолжали терроризировать. Я увидел, что в этом «свободном мире» человек полностью беззащитен, что сионистские гангстеры могут сделать с ним что хотят».

АКАДЕМИК ГРИГОЛЮК В КОЛОННОМ ЗАЛЕ

Мы сидим у моего приятеля в Верхнем Манхаттане. Июнь восемьдесят первого года. Зашел к приятелю человек. Наш. Седой, благообразный, приехавший в США восемь лет тому назад. Разговорились. Про то, про се, про эмиграцию, конечно же. Благообразный сказал: «Я приехал в США напрямую. У меня здесь родственники. Как это делалось? Да просто, если не считать тринадцати отсиженных мною лет за этих самых американских родственников, да трех лет ожидания разрешения уехать к ним. Получил визу в МИДе. С автографами. С американской стороны визу подписал Генри Киссинджер, с советской — какой-то Голышников...»

Услышал я это имя и перед глазами — лысая, крупная, круглая голова, белое, грубо вылепленное лицо и гремят эйркондиционеры. И сияют улыбками трое молодых людей, прекрасно, в американском стиле, одетых, излучающих, диссонансно с шефом, благожелательность. Перед глазами — я сам с ними — на столе банки с «Кокой», сигареты «Мальборо», зеленые чешские пепельницы, синий дым, столбами тянущийся, как в небо, в два эйркондиционера, новеньких, гремящих для того, чтобы никто не смог подслушать разговоры...

— Знаете, Эфраим*, — сказала Берта Тарло, — мы хотим на родину. Мы ведь просто из-за стадности приехали в США. Вы тоже оттуда. Помните, какая в СССР лихорадка по поводу США. Только и слышишь: «Америка! Америка! Нью-Йорк! Нью-Йорк!» А мы хотим в Иерусалим. Чтoб было тихо ранним утром. И воздух прозрачный над морем... — Берта закатила глаза, окуталась мечтами, а Эфраим, наблюдая за ней, думал, что вот, настоящая еврейка, видящая свою родину, ни разу ее не видел, а Берта, пока ее муж Владимир Ильич вместе с секретаршей Эфраима, заполнял анкеты, видела... Ялту.

— Мы хотим, чтобы вокруг города — множество махоньких городишек на маленьких горках, а воздух такой чистый, прохладный и нежный, что можно из него лепить снежки... — Берта

* Эфраим Цал — начальник русского отдела «Израиль Алия Центр».

открыла глаза и поглядела мимо Эфраима в окно, где виднелся кусок дома на шестидесятой улице. Она думала и вправду, что думает об Иерусалиме. Она не лгала...

С человеком часто случается: приезжает в новое, никогда ранее не виданное место и вдруг обнаруживает, что все в этом месте ему знакомо. Человек загадывает: сейчас сверну за угол, а там — аптека. Сворачивает за угол и видит — аптека. Или что-то еще загадочное, знакомое, мучительно близкое. И еще с человеком случается ностальгия по далекому прошлому, но мало кто видит себя в прошлом рабом, а все больше — в коляске, и слуга на запятках. Или же — бал, музыка гремит, вальс, голые, прекрасные плечи, бальные платья неземной поземкой метут память и даже запахи несутся оттуда — острые духи, пряная пудра, смешанные с едва уловимым потом, источающим не усталость, а радость и талую истому — одновременно...

Покуда разведки, в том числе и Эф-Би-Ай, которая заинтересовалась и отвлекалась на поездки эмигрантов из Нью-Йорка, да и из других городов в Вашингтон, занимались своими делами, эмиграция из СССР в своей массе вставала на ноги. Первыми очнулись и взялись за дело люди, умеющие хоть что-то делать руками, но, пожалуй, еще и впереди них была интеллигенция, которой для работы был нужен хороший английский язык: инженеры, врачи.

Журналисты, писатели, поэты, литературные редакторы заметались, засуетились, затосковали. Податься им тогда было почти некуда. Да и сейчас: ну, куда?

Андрей Седых сказал мне в начале семьдесят четвертого года: «Я, конечно, шучу, но с литературными редакторами в нынешней эмиграции такой избыток, что думается мне: это — дело рук КГБ. А всерьез, так проблема с литературными деятелями большая и трагическая. Эти люди трудно меняют профессию. Я вас иной месяц по восемь раз печатаю, и что? А ведь скоро понаедут писатели еще и еще...»

Понаехали. Стало хуже, трудней. Стало лучше, несмотря на то, что стало хуже. И все-таки... хуже. Понаехали, понавезли табели о рангах и бочку с лаком. Обмакнули в него и самого Андрея Седых.

22 апреля 1981 года советские дипломаты О. Сосновский и Л. Вериникин встретились с представителями организации СССРДж, выступающей в США за право эмиграции из СССР всех евреев.

Сам факт подобной встречи в Колумбийской университете и последующая дискуссия — беспрецедентны.

Ни ход встречи, ни заявления сторон не имели значения, а имела решающее значение причина: почему согласились совет-

ские на эту встречу при дневном свете, микрофонах, свидетелях?

Председательствующий Давид Маковский высказал предположение, что СССР пошел на встречу с целью получения информации о настроениях еврейских активистов в США. Воистину интеллигентная наивность. Надо бы знать Давиду Маковскому и его сторонникам, что СССР имеет подобную информацию в полном объеме. Эту и другую, о которой не имеют ни малейшего представления Давид и его друзья. Да и вообще: СССР испокон века привык получать информацию с Запада совершенно иными путями, используя главным образом два равнозначных источника: западную демократическую прессу, открытость которой граничит с безумием, и — шпионаж. А конференции, подобные этой, в Колумбийском университете, — действие. Либо — наступательное, либо — подготовительное, но к чему? Не знаю, однако хочу заверить всех любопытствующих, интересующихся и заинтересованных, что в ближайшие пятьдесят лет, коли власть в России не поменяется, и речи быть не может о стопроцентной эмиграции из СССР.*

Ну, во-первых, не вся еврейская нация состоит из авантюристов, смельчаков, правдоискателей, свободолюбцев. А, во-вторых..., впрочем, лучше я вам расскажу один случай, а уж вы судите сами...

На исходе пятидесятых годов, точнее, — в пятьдесят девятом году, состоялось некое мероприятие в Колонном зале Дома Союзов. Актёров, проходивших на концерт через артистический подъезд со стороны Охотного ряда, проверяли жестко: пропуска разглядывали чуть ли не на свет, долго вглядывались в фотографии, сравнивая с лицами. Даже Райкина продержали минуты три. Его-то, верно, из любопытства: живого Райкина разглядеть и после дома жене и детям рассказать, что я, мол, Райкина вот как тебя видел.

Я был администратором того концерта, но что предшествовало ему — не знал. Знал только, что концерт — правительственный. И потому принес с собой ручной чемодан для снеди, которую и приобрел в буфете, где работали дамы с застывшими лицами, сотрудницы ГБ, всегда подменявшие проверенных и все же ненадежных работников буфета Колонного зала в дни правительственных концертов.

Помимо Райкина программа была подчеркнута академической, что шло вразрез с вкусами политбюро, любящего цирк и на худой конец — эстраду. Политбюро во главе с Никитой откровенно тосковало, сидя в левой, если глядеть в зал, ложе, но

* А поменяется власть, зачем уезжать? Если их не будет, все останутся. А те, кто уехал, — вернуться.

зал «товарищи» не покидали. Это был из ряда вон выходящий случай, ибо, как правило, вожди покидают любые действия в любое время достаточно бесцеремонно. А тут сидели и скучали.

Открыл концерт Давид Федорович Ойстрах, танцевала Майя Плисецкая, заканчивал программу Аркадий Райкин и между ними, кроме Омского хора, выступало множество евреев, что само по себе на правительственном концерте было чудом: в одном концерте сразу и вместе столько евреев! Нонсенс!

В чем же дело?

Я был так заинтересован, что из правой, противостоящей правительственной, ложе у стены выглянул в зал и увидел потрясающую картину. Первые двенадцать рядов были заняты молодыми людьми не старше тридцати-тридцати пяти лет. И — много моложе. Далее: примерно половина из сидящих были евреями. И евреи, и русские были увешаны значками всяческих премий. И — орденами. И евреи, и русские вели себя небывало свободно, несмотря на то, что сзади них восседали многозвездные генералы. Все пришли без жен.

Через неделю после концерта я встретил на Кузнецком мосту Эдика Григолюка. Разговорились. Мы с ним тогда приятельствовали на почве книжного собирательства. И он мне сказал, что был на том концерте. И, сказал он, был там Андрей Дмитриевич Сахаров. Эдик и еще несколько имен назвал, но я не запомнил.

Эдик после помогал академику Леонтьеву в Академгородке. Он уже тогда был, по-моему, членкором. Нынче он — полный академик. Не то он физик, не то что-то еще. Я в этом не слишком разбираюсь. Зато разбираюсь в ситуации, а она в тот вечер в зале была несоветской, а именно: никакого заискивания и подхалимажа со стороны зрителей в адрес вождей. Более того: никакого внимания. Не реагировали на ложу эти наглые ученые юнцы. Концерт вел Михаил Наумович Гаркави. Он начал словоизвержение, легко вынеся свое огромное тело на сцену, с приветствия зрителям. И представил Давида Ойстраха. А после сказал, указуя на аккомпаниатора, не помню кто тогда аккомпанировал Давиду Федоровичу, что «у рояля — такой-то. Я говорю «у рояля», потому что, если бы у рояля никого не было, его бы украли...»

Ложа захохотала, зал хранил гробовое молчание. Тоже — феномен. В той стране. Ибо: если вождям смешно, народ просто обязан веселиться!

А вот эти молокососы не смеялись на пошлую шутку. Им было не смешно. У них был хороший вкус. Впрочем, конструировать современное оружие с плохим вкусом просто нельзя. Оружие, до пуска его в действие, обязано устрашать своим видом, а

устрашать может только современнейший, стремящийся и летящий всеми своими формами в цель, угрожающий вид.

Как я уже сказал: не менее половины зрителей из первых двенадцати рядов были евреями. И это, думаю и даже уверен, — вторая, а скорее, первая причина, по которой невозможна сто-процентная эмиграция евреев из СССР.

В Новосибирске, где я частенько бывал, а как-то организовал, уже не будучи администратором, выступления Галича, Высоцкого и других в Академгородке, мне рассказали довольно любопытную историю, тоже, по-моему, имеющую отношение к нынешней еврейской и нееврейской эмиграции из СССР. И — к этой повести.

Как известно, Никита дал денег и благословил создание на Востоке страны заповедника ученых. Выбрали — Новосибирск. Отстроили Академгородок, отдали его на откуп Леонтьеву и послали туда одаренную молодежь. И начали в Сибири расцветать науки. Но тут Никита навестил городок. Как это у Гоголя: «Я тебя породил, я тебя и убью!»? Так вот: приехал Никита в Академгородок и внешне был этот визит разрекламирован как забота партии и правительства о молодых ученых. Реклама эта оказалась для внешнего, наружного употребления. Партийная ширма приезда скрывала жесткий конфликт, возникший между Леонтьевым и Первым секретарем Новосибирского обкома, которых Никита примирил. Внешне. А вот истинная цель, о которой обмолвился Гребнев, первый заместитель Аджубея, в одной компании, состояла в том, чтобы любыми путями вытащить из Академгородка наиболее ярких, молодых ученых и использовать их не по специальности, а в ЦК КПСС, КГБ и МИД. Брали не только социологов и экономистов, а — физиков и математиков. Додумались, что необходим мозговой трест в каждой из этих трех наступательных организаций.

Я знаю, что эмиграция из СССР была решена и разработана при помощи изъятых из науки молодых ученых.

Я уверен, что эмиграция из СССР, учитывая огромный, накопленный десятилетиями опыт КГБ, имеет множество аспектов, задач, сверхзадач, но у меня скромная цель: проследить операцию «Возвращение».

А МЫ ПРОСО СЕЯЛИ, СЕЯЛИ

Удивительно, как под русским низким небом, в умеренном климате, в зимних морозах и в осенних длинных дождях живут такие беспокойные и темпераментные люди. Движимые страстями чуть ли не шекспировскими, коварством посвыше маккиавеллиевского. Непостижимо. И не верится, что это те самые

люди, что терпели татар так непростительно, так непоправимо долго.

НА РАССЕЙ ВСЯК РАССЕЯН,
НО СО ВСЕМИ ВСЯК ЕДИН,
ЛИШЬ КОГДА ПО ВСЕЙ РАССЕЙ
МЫ НА КОРТОЧКАХ СИДИМ.

А у народа есть песня: «А мы просо сеяли, сеяли...» В начале оттепели, которая, скорее, похмелье, восстановили старый, народный, такой истинно русский вариант (!!!) с «вытопчем». Звучал вариант так: «А мы просо сеяли, сеяли, а мы просо вытопчем, вытопчем...» Использовали как-то народную песню на капустнике в ЦДЛ и, несмотря на оттепель, разразился скандал. Видно, холодало. Или никогда не теплело. И тут, как утверждают, М. А. Светлов поменял «просо» на «прозу» и получилось: «А мы прозу сеяли, сеяли, а мы прозу вытопчем, вытопчем...» (Вскоре начали — с Даниеля, Синявского, Солженицина). Я тогда спросил Михал Аркадича: «Михал Аркадич, это ваши шутки с просом и прозой?» Он поглядел на меня хитро, смял втянутое, каучуковое лицо, засиял глазами и сказал: «Много будешь знать, скоро посадят». «Сейчас не сажают» — ответил я, а он уронил: «А через час могут». Еще говорил мне автор «Гренады», что «в СССР — три миллиона евреев и всего три синагоги. Много евреев, мало синагог, и это в какой-то момент может вызвать страшную давку...» Лет через десять началась эмиграция...

Вообще-то в той стране — все загадка. Для тех, кто не хочет разгадывать. Сеять, чтобы вытапывать! Так это ж издавна: варить бульон из яиц? Нет, пострашней...

С академиком Эдуардом Ивановичем Григолюком я встречался почти до моего отъезда. Он года два провисел, как и Жора Мосалов, первый учитель космонавтов, под потолком. Склеивали и собирали Эдика по кусочкам после страшной автомобильной катастрофы.

Мы с ним вспоминали концерт. Академик говорил, что тот концерт был знамением времени. Наука на скользком и крутом повороте обошла вождей и принудила их сдаться. А если и не сдаться, то, ворча и огрызаясь, отступить, скрепя сердце, утешая себя «шагом назад, двумя шагами вперед».

А уезжая, я думал: отступают вожди евреями или наступают?

Лично меня, по выходе из аэропорта Кеннеди, когда уса-



Здесь мы живем

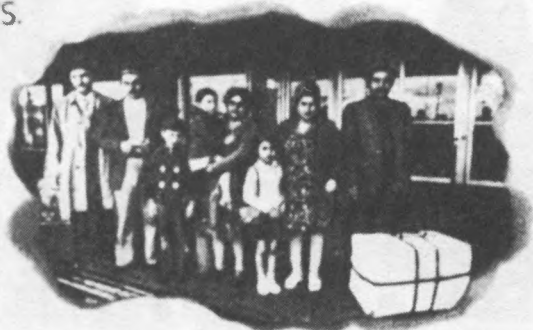


Товарищ И. В. Сталин, решая еврейский вопрос



Валерий Кувент

he Russians are coming.
hey want to live
s Jews.



It's give them that opportunity!

**Friends of Refugees
of Eastern Europe**

Советском Союзе евреи живут хорошо.
Сам я, к примеру, имею свой дом, сад,
работу, ни в чем мне не нужно. Тогда еще
принесли толком **Валерий Кувент с семьей**

бухалт. фирмачка
ГР. советский еврей
в СССР. Фотогра-
фия семьи Кувентов,
обитавших в США

КОСМИЧЕСКИЕ ЕВРЕИ



«Папанинцы»

Талант, и в нем к нему
 Кавму Леонидову
 Леонидову
 с дружескими поздравлениями
 Андрей Седых



На берегах то ли Сены, то ли Гудзона, то ли Ахеронта...

И. Одоевцева, Я. Горбов, Ю. Терапиано, А. Седых.



Борис Сичкин. Вот так мы покидаем Россию



Мстислав Ростропович и Михаил Александрович с женой Раей

дили нас в автобус, угнетал желтый свет фонарей. Был он, как туман. После белого света Европы.

Я говорил кое с кем. У некоторых — те же самые ощущения. Еще — скалистый, сверкающий Манхаттан. Еще — отели. Живя в СССР, читая об американских отелях, представляешь их какими-то необыкновенными. Хотя отели у Драйзера, О'Хара, у Стейнбека — это грязные забегаловки, но не веришь ты американским писателям, да еще переведенным и цензурированным в СССР. Не веришь и все, а тут: тараканы, жара или холод, грязь, черные, желтые, красные люди, обилие непахнущей жратвы. И память волочет назад. Думаешь в СССР, а на самом деле — в детство, в юность.

Примерно в годы, когда «теплело» и ученые доказывали вождям свою необходимость, в городе Ялте жил и учился вышеупомянутый Владимир Ильич Тарло. Его папа и дедушка были солидными и уважаемыми людьми в Ялте. Володя Тарло рос умненьким-благоразумненьким мальчиком и уже в школе знал кое-что о понятиях «необратимость» и «недостаточность». После школы годы полетели, и глядь — медицинский институт окончен. Володя стал санаторным врачом. Самая нужная профессия на курорте.

Женился до окончания института. Жена заканчивала ВУЗ, где готовили ее к преподаванию английского языка.

Надо сказать, что Владимиру Идьичу помогли и мешали его почтенные имя и отчество. В школьные годы, когда шалил, — мешали. Ему говорили: «Ай-яй-яй! Такое имя и отчество и так себя ведешь!» В институте ему ничего не говорили, но чувствовал он, что помогают ему эти отчество с именем.

Поступил Тарло работать в институт Сеченова и сразу пошел в гору. Никакого антисемитизма не чувствовал. В те годы, а может и сейчас, в Крыму антисемитизма мало: выгнав, поубивав и пересажав татар, власти до поры решили не трогать евреев. Тем более, что крымские места — лечебно-врачебные.

(Лет 10 назад доложил в ЦК КПСС министр здравоохранения Петровский: «Нам понадобится не менее тридцати лет, чтобы освободиться в медицине от евреев. Полностью». Присутствующие многозначительно покачали головами).

Ходил по Ялте один антисемитский анекдот. Среди сотни других, но этот был безобидный, и Владимир Ильич Тарло сам рассказывал его. Вот он: «Уборщица разговаривает в гостинице «Украина» в Ялте с постояльцем, живущим в «Люксе»: «У нас, милай, здесь всё по сезонам. И все по сезонам. К примеру: в мае отдыхают трудящиеся, шваль разная. В июне — инженеры всякие. Тоже мелюзга. В июле — министерские, мелкота. В августе — начальство. А вот уже в сентябре, когда сезон бархатный —

яврей».

Было смешно.

А евреи, как скорая помощь: сами придумывают анекдоты, сами их рассказывают, сами смеются. «Скорая помощь» тоже: сама едет, сама давит, сама помощь подает.

Но мы отвлеклись. Володя, женившись, не терял времени: заполучил дочку Аню и получил утвержденную тему для кандидатской диссертации. И все было хорошо, но не дремал сионизм, как мы уже знаем...

В МАЕ ПЯТЫЙ РАЗ ПОДРЯД
ЗАЦВЕЛА АКАЦИЯ,
А У ЯВРЕЕВ, ГОВОРЯТ,
ОБРАТНО ЭМИГРАЦИЯ.

Летом 1975 года по Брайтону поползли слухи: СССР решил пускать евреев обратно. Наученные горьким опытом проживания в СССР, эмигранты не поверили первым слухам, зная, что все исходящее от советской власти, — обман. Но тут на набережной появились бланки анкет. Это было уже нечто реальное. Анкеты включали множество вопросов, но упор делался на вопросы о причинах желания возвратиться. Отчего? Почему? По какому случаю? Кстати, почему уехали?

Вопросы адаптации — вопросы сложные. Первым — всегда труднее, первые накапливают опыт, так сказать, «на собственной шкуре», первые были растеряны. Не все, конечно, но многие. Я сам, получив в 1975 году инфаркт, не знал, что существует «Вэлфэр» и «Эс-Эс-Ай». «НАЙАНА» также только училась работать с эмигрантами из СССР. И вот в эту тревожную заводь швырнули камень: домой! И многие забыли все, что пережили там, многие не стали думать, что с ними будет, многие решили: домой!

ДОРОГАЯ НЕСВОБОДА,
ПО ТЕБЕ ТОСКУЮ Я!
ХОТЬ В ТЕБЕ — НИ ДНА, НИ БРОДА,
И ВООБЩЕ-ТО — НИ ХУЯ!

Я в этом повествовании не могу называть имен. Не имею морального права, ибо большинство из тех, кто тогда хотел домой, сейчас и слышать об этом не хотят. Большинство, — это сказано не точно. По-моему, никто из тех, «ветеранов», уже не хо-

чет возвращаться. Поэтому прошу не искать, среди описанных мною, ваших знакомых. Их не окажется.

На Брайтон Третьей жил инвалид войны, сумевший вывести все свои ордена. Он был эмигрантом, а не прямым, которые имеют красные паспорта и получают на Седьмое Ноября приветственные послания и поздравления от советского посольства. Как-то к нему зашел Валерий Кувент, шевеля тонкими усиками. Кувент спросил инвалида войны, хочет ли тот домой, обратно, в СССР. Инвалид хотел. Валерий дал ему анкеты. И гарантии: если инвалид будет раздавать анкеты, то уедет в первую очередь. Кроме того, инвалид должен знать секрет: советская власть решила пускать евреев обратно в связи с тем, что хочет доказать Западу где же она, истинная родина трудящихся, которых не поймать на крючок капитализма. Секрет же в том, что пускать будут в течение года, а после — все. Так что надо торопиться. Инвалид держал секрет минут пять, что и планировалось.

Первая пачка анкет кончилась, и больше Валерий их не давал, а давал карточки с адресом постпредства и расписания поездов линии «Армтрак», идущих в Вашингтон из Нью-Йорка. В постпредства поехали желающие. В день приезжало по пять-шесть человек. У тех, кто побывал в Израиле, просили ненужные им израильские документы. Брали документы на время, но не отдавали. В постпредстве эмигрантов поочередно принимали три Володи.

Первый Володя был обаятельным высоким шатеном, очень приветливым. Одет был всегда по последней моде. держался свободно, беседовал непринужденно. И наглядно показывал, что уполномочен на многое, кроме окончательного решения. Окончательное решение — в Москве. Но он давал понять, что мнение Вашингтона будет иметь значение.

Потом вдруг к осени Первый Володя исчез и появился Второй, которого даже писать с заглавной буквы не стоило бы: он появился, безликий, и испарился, а возник, и держался до остановки в операции — Владимир Ильич Пожаров, эдакий стандартный положительно-милицейский советский киногерой. Незаметный, совершающий подвиги похода во время перекура на партсобрании.

С появлением Пожарова Брайтон возбудился до крайней степени. Кувент шнырял по набережной и сообщал одну сенсацию за другой: то — в сентябре будут пускать первую партию. То — те, кто согласен в аэропорту Кеннеди давать интервью, поедут первыми. То — решение Политбюро принято, и эмиграцию будут закрывать, а открывать будут реэмиграцию. Страсти накалялись. Впопыхах, в запарке, в зашоре, в захлебе люди забыли,

с кем они имеют дело. Им виделись родные пенаты без лозунгов, с магазинами, набитыми мясом, рыбой и овощами. Людям вспоминались золотые сталинские послевоенные времена, когда каждый год хоть что-то чуть дешеvelo, а здесь — инфляция!

Отступлю: евреев всегда губила надежда. И спасала вера. А любовь сбивала с толка. Евреи во все грозные, наступающие времена — надеялись. Впрочем, одни ли евреи? Да, одни, если вспомнить Майданек, Освенцим, Бабий яр, «Дело врачей и космополитов», «Дела Дрейфуса и Бейлиса». Но ведь и грузин Сталин вместе с русским народом надеялись, что Гитлер их не обманет. Но ведь и по сей час Запад надеется, что все обойдется. Так что надеяться — не глупо, а — свойственно.

Собрания в доме у инвалида Отечественной войны становились все многолюдней. Собиралось по двадцать-двадцать пять человек. Что это были за люди? Не стану о них говорить. Скажу только: это были люди.

ОКОЛДОВАННЫЙ Я РУСЬЮ
В СНАХ ПОДУШКУ ТИСКАЮ:
«АХ, МАРУСЯ, ОХ, МАРУСЯ,
ПОМАШИ МНЕ СИСЬКОЮ!»

Кувент таскал через весь Брайтон на виду у всех тюки с трикотажем, шерстью, нейлоном, дакроном и еще с чем-то. У домика, в котором он проживал, сидела, расставив толстые, со вздутыми венами на ногах, мама. Возле нее копошились дети. Жена стояла у плиты и готовила. И стирала. А добытчик мотался то в Вашингтон, то на Диленси стрит. Он суетился и оказалось, что не зря. В один осенний жаркий день он исчез вместе с мамой, детишками, женой и тюками.*

Отъезд Кувента вызвал среди собиравшихся назад панику. Группами на автомобилях, на поездах «Армтрак», на самолетах поспешили желающие возвратиться в советское постпредство в Вашингтоне. Но там их встретили с прохладцей. Пожаров сгинул. Как не было его. Никто из постпредства больше не заверял желающих вернуться, что все будет в порядке. Климат резко изменился.

Умные решили, что все было обманом. Однако они заблуждались. Это был как раз тот исключительный случай в советской действительности, когда обмана не было. Просто из Москвы была спущена директива «организовать солидную группу возвращенцев», но не было по этому вопросу в верхах полной договоренности. Шли споры.

* Кувент всем сообщал, что пускать будут только всех сразу. В крайнем случае — в две партии.

Что это за акция? Каковы ее последствия? Как она будет выглядеть?

Это были не такие уж простые вопросы. Позади у советской разведки оставалась Семидневная война, впереди — операции «Энтеббе» и «Вавилон». Позади были Никсон и Киссинджер. Впереди — Рэйген и Хэйг...

А как же все-таки должна была выглядеть эта акция? Ответить на этот вопрос трудно. Трудно ответить, что именно собирались делать вожди с группой своих бывших граждан после двух-трехнедельной фанфарной шумихи. Они этого не знали. Доведись и сегодня воплотить эту мысль в жизнь, они и сегодня не знают.

Однако они наверняка собирались группу рассредоточить, а после видно будет, исходя, конечно, не из общих для всех, а персональных предпосылок. Что я имею в виду? Пожалуйста:

В феврале 1976 года были неожиданно впущены, разбуженные ночью на Брайтоне, — четверо. Это случилось уже после отмены операции «Возвращение». Впрочем, вот вам страницы из «Белой книги», четыре страницы о четырех «евреях-папанинцах».

СНОВА БЕЛАЯ КНИГА

«...В октябре 1975 года в советское посольство в США обратились с просьбой о возвращении на Родину бывшие граждане СССР Макс Конный, Иосиф Розман, Владимир Шныпарь, Григорий Рубенчик. Тогда же прогрессивная эмигрантская газета «Русский голос», издающийся в Нью-Йорке на русском языке, напечатала их письмо, в котором рассказывалось обо всем, что произошло с ними. Там были такие строки: «Пожалуй, даже в богатом русском языке трудно найти точные краски, чтобы описать положение, в каком находятся сейчас многие сотни людей, выехавших из Советского Союза. Обездоленные, несчастные, потерявшие смысл жизни, они мытарствуют по свету в поисках лучшей доли. Но после того, что потеряно, вряд ли отыскать лучшее».

В порядке исключения просьба Конного, Ройзмана, Рубенчика и Шныпаря о возвращении была удовлетворена, и в феврале 1976 года они вернулись в СССР.

Свидетельство М. Конного представителям Ассоциации советских юристов о его положении в Израиле приводится

Макс КОННЫЙ, 1947 года рождения, образование среднее. Выхал в Израиль в 1973 году, бежал оттуда в Италию в 1974

году, но был насильственно депортирован назад в Израиль. В 1975 году вторично бежал в Рим, затем переехал в США. Вернулся в СССР в 1976 году. Живет в г. Одесса, работает по специальности.

Все это время добивался разрешения на выезд из Израиля, но мне его не давали. Я говорил в «Сохнуте»: «В СССР я прожил всю жизнь — и меня выпустили за два месяца, а у вас живу только пять месяцев — и вы меня не выпускаете. И при этом ваша пропаганда еще утверждает, что в СССР чинят препятствия для выезда евреев в Израиль».

Многие мои знакомые, как и я, хотели бы уехать из Израиля, но они опутаны долгами за приобретенные вещи. Долг 25-30 тыс. лир — это пожизненное рабство. За такие деньги покупается «новый гражданин Израиля», потому что при существующей средней зарплате их не выплатить до конца жизни. Мне тоже предлагали сразу приобрести разные вещи, но я уже знал эту систему и потому отказался.

После тяжких мытарств удалось уехать в Италию, а затем в Нью-Йорк. Долго не мог найти работу. В конце концов устроился грузчиком и стал добиваться разрешения на выезд в Советский Союз. Вместе со знакомыми — бывшим журналистом Григорием Рубенчиком, работавшим здесь маляром, бывшим режиссером Владимиром Шныпарем, ставшим таксистом, бывшим токарем высокой квалификации Иосифом Ройzmanом, превратившимся в разнорабочего, ходил по редакциям ньюйоркских газет и предлагал совместно написанные статьи. Как только в газете появилась наша первая статья «О плачевном положении евреев в Нью-Йорке», все четверо были уволены с работы.

Сначала сионисты уговаривали остаться в США, предлагали деньги. Потом перешли к более решительным действиям: в первый раз в наше отсутствие разгромили комнату, где мы жили, во второй раз избили нас, в третий раз уже пустили в ход ножи. В гостинице мне, истекающему кровью, стали делать перевязку только тогда, когда была собрана и внесена плата за лечение.

Как известно, одним из методов «убеждения» сионистских организаций в Америке стали хулиганские выходки, нападения на тех, кто смеет громко выражать свое несогласие с ними.

Многие выехавшие из Советского Союза, живущие в Нью-Йорке, подняли бы голос протеста против своего несправедливого положения, но они запуганы, они боятся того насилия, которому подверглись, например, мы. Нам пришлось скрываться в сарае, а когда кто-нибудь из нас шел в магазин, то гримировался, так как наши фотографии были опубликованы в газетах и мы еже-

минутно могли подвергнуться нападению сионистов.

В Брюсселе мы выступили перед иностранными журналистами с рассказом о том, какая судьба ожидает человека, поверившего лживой сионистской пропаганде и покинувшего свою единственную, настоящую Родину. Материалы этой пресс-конференции были опубликованы как в зарубежной, так и в советской печати...»

Как видите — четверо «папанинцев», прыгая с льдины на льдину, оказались на Родине. Уф! После капиталистического ада снова дома. Хор мальчиков и Бунчиков по радио до сих пор. Березы.

«Над Россией небо синее, меж берез дожди косые. Так похоже на Россию, только все же не Россия». Уж это — факт. А что Израиль? А сионисты? А израильское правительство уже заседало по поводу... атомного реактора в Иране, пока «папанинцы», дрейфуя, поливали Израиль и сионистов, которые просто люди, желающие иметь для себя и своих детей родину...

ХРАМ И ЦИРК

**ТО ЛЕНИН СПАЛ С РОССИЕЙ,
ТО СТАЛИН ПО ПОЖАРИЩАМ
ПРЕДАЛ ЕЕ НАСИЛИЮ
И ПЕРЕДАЛ ТОВАРИЩАМ**

Плохие люди нуждаются в хороших. На этом, в какой-то мере, построены религии. И другие моральные институты.

Поляки показывают миру чудо моральной стойкости. Евреи — тоже. Я имею в виду и Израиль, и диаспору. Кроме СССР, конечно, где чудесам не место. Впрочем, я не прав. Атеист Леонид Ильич Брежнев в поисках идеала набрел на него в... цирке. Да, да, в цирке, и я совершенно не шучу. А говорю на полном серьезе.

По-моему, после религии нет более чистого в моральном смысле места, чем цирк. Храму и цирку архитектура определила купол. Как у планетария. И почти как у неба.

Во всем мире самые большие сборы делают храмы и цирки. Хлеб — и духовная пища.

Цирк — и зрелище. А — не только зрелище.

Человек цирка — модельер Господа Бога, ибо модель эта — каким человек должен быть. Эйнштейн или Достоевский это — каким человек мог бы стать! Но не стал. И не надо.

Человечество, состоящее сплошь из Эйнштейнов и Достоевских, разлетелось бы вдребезги, каясь на лету...

Брежнев нашел храм в цирке, как Никита искал цирк в храме. Из вождей лишь Сталин четко умел отделять храм от цирка, ибо Ленин обожал политические парадоксы, что сближало его с цирком по части курбетов и прочей акробатической чехарды.

Леонид Ильич пошел значительно дальше простого открытия для себя морального чистилища в цирке. Он, не горец, по горскому обычаю связал себя с цирком кровно, отдав Жене Милаеву, добродушному здоровяку со слоновьими ногами, дочку Галю. И получив впоследствии внучку от этого циркового брака. Сейчас, видимо, есть у него уже и правнучка или правнук цирковых кровей.

Я думаю, что все то плохое, что мог бы, но не сделал Леонид Ильич России, — дело рук цирка. И я не иронизирую. «Не строю насмешки». Нет. Я говорю искренне. Я верю в то, что говорю, ибо знаю цирк, как мало кто. Я дружил с циркачами. И я знаю: это — чистые, добрые, отзывчивые люди. Честные, отважные. Единственные люди в СССР, кто дружат в профессии и в ней живут не по вольчим законам пожирания павшего, а — по-христиански. Правда, редко кто из циркачей ходит в церковь, хотя... Не стану называть имен.

Говорят: к цирку подтолкнула Леонида Ильича жена. Враки. Выдуманные евреями, которые и вообще-то любят себе приписывать то, чего нет. И не было. Сейчас евреи приписывают себе шесть миллионов жертв — завтра еще чего-нибудь припишут.

На самом же деле жена, в «период Кишинева и Днепропетровска», пыталась сдружить Брежнева с торговлей. В какой-то мере ей это удалось, а с цирком связала Леонида Ильича дочка Галя, и выходит: не Брежнев искал чистилище, а чистилище обрело генсека. Однако и на том спасибо, ибо цирк лет на тридцать задержал дружбу Леонида Ильича с литературой. И только породнившись с КГБ через ту же Галю, Леонид Ильич познал душевный покой. И теперь видно, что опять же евреи правы, утверждая, что семья — оплот жизни, а если в семье первый зять мог держать на ногах лестницу, на которой кувыркались под самым куполом несколько родственников, а второй зять может держать в руках органы КГБ, такая семья — нерушима. И она — оплот, но я хотел поговорить немного о цирке, ибо, во-первых, евреи пролезли и туда, а, во-вторых, цирк по ассоциациям есть модель СССР. Кроме чистоты и дружбы, честности, смелости и любви. А что же остается от модели? — спросите вы. Я отвечаю: «Акробатика, хождение по проволоке, риск, арена,

дрессировка, клоунада, снаряды, поиски и бесконечный тренаж, почище, чем в балете».

Леонид Ильич очень дружил с дрессировщиком медведей Валей Филатовым. Правда, было это во времена Верховного Совета без секретарства, а ныне — не знаю.

Филатов — человек порядочный, работающий, упорный...

Было дело: приехал советский цирк из Японии. Во главе группы Игорь Кио. Когда б не он, может, история СССР выглядела чуть иначе. Вот и спорь после этого с историками о роли личности в истории. Игорь — не личность, но молод был и красив. Холен. И — еврей. Впрочем, кажется, мама у него была полукровкой. Здесь кто-то может отметить, что я придаю излишнее значение вопросам крови, что я, может, — расист. Так нет, я не расист, просто хочется мне уточнить факт, что евреи пытались поправить кое-что из того, что понаделали на Руси татары. Не слишком успешно, но что-то у них получалось, а тут — эмиграция.

МНЕ ШЕПНУЛ АФИНОГЕНОВ,
МОЛОДОЙ, ХУЯСТЫЙ ЧЕРТ:
«ЕСЛИ В СПЕРМЕ МНОГО ГЕНОВ,
ЗНАЧИТ, СПЕРМА — ПЕРВЫЙ СОРТ!»

По возвращении группы Кио из Японии, Брежневу доложили, что Галя сошлась с Игорем. Ездила Галина Леонидовна в Японию в качестве костюмерши. Пусть она не гладила чужих костюмов и никому не помогала переодеваться, однако для коммунистического «дворянства чистых кровей» сам факт оформления на бумаге дочери Председателя Президиума Верховного Совета СССР костюмершей — прогресс. Но и прогресс, как известно, часто оборачивается регрессом. Костюмерша начала спать с гастролером. При живом, здоровенном муже. Скандал. Развод. Но тихо все, ибо, как я уже говорил, циркачи — люди порядочные даже в делах сомнительных.

Роман с Кио длился несколько лет, и оборвал его уже генсек, выслав в Сочи, где гастролитировал Игорь, наряд особо доверенных лиц, накрывших Галю с Игорем ночью в гостинице. Галю отправили спецрейсом в Москву, а Игорю на следующее утро в городском комитете партии очень вежливо сказали, что не рекомендуют ему отныне и во веки веков встречаться с Галиной Леонидовной. Надо сказать, что хотя Игорь был значительно моложе Гали, он ее любил. И разрыв переживал...

А, да, не закончил я про Филатова. Как-то на третий день приезда группы Кио из Японии позвонил Милаев и сказал, что привез, как и обещал мне, зажигалку. И что я могу заехать. Жили они тогда с Галей в бывшей квартире Ворошилова, в

подъезде задней стороны дома, соседнего с гостиницей «Украина». Квартира «анфиладная». Я заехал на следующий день часа в четыре. Женя был дома один, а стол в столовой, расположенной напротив входной двери, конечно, через холл, был накрыт «круто». На столе были выпивка и закуска в виде чего-то среднего между застольями Лондонского клуба и Тестовского трактира. Женя вручил мне подарки и сказал: «Давай, рванем по рюмахе, но скорей». «Почему, скорей?» — подумал я. Сели, рванули, и тут звонок — и входят в дверь Валентин Филатов и ведомый им, идущий, как говорится, на бровях, Леонид Ильич. Я вскочил, но поздно. Пьяный Валя нас знакомить начал, и хоть был тогда Брежнев не генсек, а почувствовал я себя неважно. Ну, пили вчетвером, а после пришла брежневская жена. Как я понял, тоже за подарками, привезенными зятем. За столом разговоры, говорили про то, се и про... евреев, но спешу разочаровать любителей сенсаций. Пьяный Леонид Ильич говорил о евреях с уважением, хотя жена где-то в тылу анфилады разглядывала тряпки и слышать разговора не могла. Брежнев еще не заплетавшимся заплетавшимся языком что-то говорил; а я подумал, что: «Человек без жены, как без рук, а человек без жены-еврейки, как без головы». Я это сказал, и все засмеялись. И я понял по их смеху, что суть сказанного мною компанией этой разделяется.

Я тогда, как мог быстро, смылся, даже подарки забыл взять. И получил их уже зимой во Дворце Спорта, но это — другая история. А рассказанная выше маячит во мне смутно мыслью: если уж партия решила избавляться от евреев, она прежде всего должна начать избавляться... от русских...

Я УВИЖУ В НЕБЕ ГУСЯ,
И ПОКИНУ ТЕБЯ, РУСЬ!
ИЗ РОССИИ РАЗБЕГУСЯ
И В НЕЕ ОПЯТЬ УПРУСЬ...

СОВЕТСКИЕ БИОЛОГИ, СОВЕТСКИЕ ИДЕОЛОГИ, СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ

Многие гадают на кофейной гуще: отчего советская власть вдруг вздумала выпускать евреев?! Ответов на этот вопрос тысяча. И — ни одного. Домыслов — сколько угодно. Теорий — не сосчитать. А вот советские идеологи вкупе с биологами вывели: евреев нельзя сеять, ибо их трудно вытапывать. И сложно пропалывать. Кроме того, евреи слишком урожайны. Евреи посаженные — плохо сидят. Евреи выпущенные начинают сразу же говорить. Отсебятину. Евреи хорошо оплачиваемые — довольны. Евреи плохо оплачиваемые — довольны. Здесь нет па-

радокса, так как плохо оплачиваемые евреи всегда зарабатывают больше хорошо оплачиваемых.

Кроме того, советские идеологи доказали, что евреев лучше всего вскармливать материнским молоком, а воспитывать в их собственных традициях критического реализма, ибо самые критические реалисты — евреи. Они любят писать и считать. Любят думать. И выдумывать.

Они не столько изворотливы, сколько изобретательны, что необходимо стране. Впрочем, в последние десятилетия стране все больше и больше необходима изворотливость.

Евреи бывают учеными, чаще — хорошими и в нужных отраслях, ибо у них нюх на нужные отрасли.

Установлено: из еврея легче выдавливать, чем выщеживать.

Еврей под прессом изощряет ум до крайне возможных и даже невозможных пределов, поэтому еврея желательно начинать держать под прессом уже с детского возраста.

Антисемитизм — лучший вид пресса.

Выведенный за последние годы вид ручного еврея лучше всего уживается в областях теоретических исследований таких наук, как математика, физика, генетика и марксизм-ленинизм. Последнее — прибежище для гениальных и усовершенствованных евреев, так как они извлекают из этого самого марксизма-ленинизма то, о чем ни Маркс, ни Ленин не имели ни малейшего представления.

Русская литература и словесность обретают в евреях патриотов русского языка, великого и простого до того, что в его дребнях плутают даже классики.

Еврей-медики действительно любят лечить людей, что непонятно и наводит на мысль: зря мы им доверили такое ответственное дело.

Инженерия в мирных целях имеет в евреях скучных, исполнительных слуг без огонька. Не то — военная инженерия. Там евреи сыплют идеи практически бескорыстно, ибо их в идеях интересует не конечный результат, а — поиск. Найденное радует их лишь первые несколько дней, потом начинается период тоски, потерянности, ненужности и так до новой идеи. Из чего следует: военная наука нуждается в евреях.

Советские евреи утратили почти полностью свою древнюю способность к коммерции и торговле, что сказывается. И, увы, слишком сильно.

Евреи трудно переносят строительство коммунизма в отдельно взятой стране. В своем большинстве они чахнут, вянут, скудеют и отмирают. Этот процесс, называемый в нашей родной советской науке адаптацией, правильной, как нам кажется, назвать вымиранием, ибо полностью адаптированный еврей те-

ряет активность, заболевает березовой болезнью. Березовая болезнь на территории СССР неизлечима. Отсюда — эмиграция. Там, как утверждают американские сенаторы, болезнь может пройти и вовсе уйти. Однако стоит подумать над целесообразностью излечения евреев от березовой болезни там...

Решение советского правительства отпускать евреев, как утверждают умники всех мастей, связано с экономическими трудностями и с желанием выпустить пары. Спорить с этими предположениями нет оснований. Видимо, в этом, как в каждой шутке, есть доля правды. Всю правду не знает никто. Даже Суслов.

Так и вижу его на пустом утреннем перроне курортного города, провожающим свою крупную, некрасивую дочь с ребенком. И вижу моложавого идеолога, распустившего слюни прощания на детской щеке.

Так и слышу рассказ человека, назову его «Н»: «...Каждое лето он приезжает сюда, на свою дачу. Ничего особо примечательного в его отдыхе нет. Ну, там визиты какие-то тайно-дипломатические из «дружеских стран и партий», но нет, вру, есть одна примечательность «досто» — мой друг любил выворачивать слова и иногда это получалось у него забавно, — да, так любит наш идеолог волейбол и... блондинов. Нет, не подумай ничего дурного, просто каждое лето за два-три дня до его прибытия появляются на даче одиннадцать молодых, здоровых блондинов. Милых арийцев, а не славян.

Каждое утро совершается ритуальное действие. Знаешь, смешно и грустно. Однажды всю эту хреновину видел своими глазами. Значит, представь: волейбольная площадка, а под ней, далеко внизу тихое спокойное море, а на нем сирень ночи покачивается в розовом мерцании начинающегося дня. Это — лирика. Выходят не из вод, а из дома — домов на участке три — одиннадцать молодцов и начинают, не дожидаясь «дядьки морского», играть в волейбол на полном серьезе. Играют так: пятеро на шестеро, ибо их — всего одиннадцать.

Но вот на аллее вдали показывается «морской дядька», Михаил Андреевич Суслов. Он идет задумчиво, погруженный в себя, стройный, как кипарис, сосредоточенный на глобальных проблемах, и вдруг: «Михал Андреич, к нам — шестым!» Один и тот же блондин приглашает его «к танцу», и Михал Андреич отвечает ему одним и тем же текстом: «Ну, куда мне, старику», — и с этими словами становится шестым и ровно тридцать минут играет в волейбол, как молодой. Его, конечно, чуть шадят, но лишь чуть. Незаметно. Это трудно, но не слишком, так как идеолог тренирован и здоров. Через тридцать минут в конце аллеи раздастся мелодично нараспев, по-краснодарски, откуда ро-

дом он: «Михал Андреич, завтрак на столе!» и, смущенно улыбаясь, разводит Суслов руками: «Что поделаешь? Горячему нельзя давать остывать. Такова жизнь...»

Может, эти одиннадцать блондинов приподнимают завесу над тайной разрешения эмиграции? Скорее всего — нет...

ЕСЛИ НАС ПУСТИТЬ ПО СВЕТУ,
СВЕТ СУМЕЕМ МЫ ЗАСТИТЬ —
ЭХ, КАБЫ НАС В ОДНУ РАКЕТУ
И — ПОДАЛЬШЕ ЗАПУСТИТЬ!

Евреи в СССР до сих пор оскорбляются, когда слышат от русских: «Хороший еврей». Они рассуждают примерно так: «Если для этого гоя есть хорошие евреи, значит, есть и плохие?!» Да, конечно же, есть и плохие, как есть и плохие русские, но в СССР происходит такая чертовщина и свистопляска, что все хорошие евреи — плохие, а все плохие евреи — хорошие. И наоборот. Не верите? Переберите по пальцам всех своих знакомых и известных вам евреев и русских и убедитесь, что в СССР все понятия смещены. В России сперва строили дома, а после — клозеты, в СССР сперва строят коммунизм, а после — клозеты. Эта страна отставания клозетов от реальной жизни. Мне рассказывал директор завода ликеро-водочных изделий, что он не выполняет план по водке потому, что ему не хватает... воды. В одной части страны, выпускаемым машинам не хватает резины, в другой, резине — машин. Честным людям не хватает доверия, жулики не знают, куда от него деваться. Стране не хватает дождей, дождям — страны. Людям не хватает хлеба, хлебу — людей и так далее.

Иван-дурак в Закремлевье умнее умных, но, увы, дураки в СССР перевелись, а все более увеличивается выполнение плана по хорошим людям. От них уже некуда деваться, и поэтому плохих начали выпускать в эмиграцию.

А с эмиграцией — тоже туры на колесах. «Самолетчики» утверждают, что эмиграцию сдвинули с мертвой точки они. Фима Севела доказывал мне, что он и его двадцать три соратника, ворвавшись в приемную Президиума Верховного Совета СССР, решили этот вопрос. Народ говорит: «Жена Брежнева — еврейка. Она протолкнула!»

А Володя Высоцкий как-то году в шестьдесят девятом пришел ко мне трезвый, как стеклышко. С гитарой. Спел очередную песню. Закурил, задумался, сказал: «Кааааких ребят припер Никита из Академгородка! За-ка-ча-ешь-ся! У меня парочка поклонников из этой братии сидит в ЦэКа. Ну, я тебе скажу... ни стыда, ни совести, ни чести, а одни сплошные мозги. Я такую

концентрацию мозгов видел только на сковороде и в тарелке. Красивые парни, молодые, руки, ноги, морды обаятельные, но все это — приложение к мозгам. Знаешь, я думаю, если дадут им мозгами ворочать — дело будет!..» «Ты о чем, о каком деле? — спросил я. «Вообще. А в частности — евреев будут отпускать в Израиль». «Всех?!» — изумился я. «Ты что! Конечно, нет! Но — будут». — «А как это произойдет?» — «Вот над этим гаврики и думают. Может, найдут модус. Нет, не может, а найдут». — «Начнут, наверно, с жуликов?» — по глупости спросил я. — «С жуликов? Ты имеешь в виду крупную торговлю и крупную промышленность! Да ты что? Советской экономике жулики нужней, чем оленему стаду — волки. Чем — Госплан. Нет, отпускать будут плохих евреев, как сказал мне один из цэковской парочки...»

Я подумал: кто-то оговорился: или тот, или Володя.

А сейчас понимаю: Володя все передал точно. Хорошая страна будет освобождаться от плохих людей. И это — один из китов, на которых построена нынешняя эмиграционная политика Закремлевыя.

ИОСИФ БРОСАЕТ СОБАКУ

Отлистайте назад несколько страниц и найдите фотографию «папанинцев». На ней крайний слева — Иосиф Ройзман. Видите, какое у него печальное, не еврейское лицо, разве только глаза, а? И потом: трое справа без галстуков, а Иосиф при галстуке...

Мы с ним в то лето и осень 1975 года почти каждое утро встречались на дощатой набережной Брайтона. Я тянул к семи тридцати утра сынишку в детский сад. Иосиф гулял один, вернее, не один — сзади за ним всегда плелась рыже-коричневая дворняга.

Мы с ним говорили на тему: «Пустьят — не пустьят». Я по привычке нес антисоветчину, понимая, что все равно ни один человек на земле не поверит, если я вдруг заявлю, что люблю советскую власть. Я и вообще-то никакую власть не люблю, а уж советскую!..

Иосиф отмалчивался, говорил, что отец там остался. Он нес в руке «шапинг бэг». Прошли мы как-то мили полторы, и он попросил секундочку подождать. Поглядел на часы. Сказал: «Пора!» Присел на корточки. Пес подбежал к нему, завилял непородистым хвостом. Потом сел, подмяв хвост под себя, и, согласно павловскому рефлексу, пустил слюну. Иосиф открыл «шапинг бэг», достал из него палку кровавой колбасы и два бублика, называемых в Нью-Йорке «бэглс». Иосиф покрошил колбасу и

«бэглс» на чистом месте набережной, где доски сверкали цветом спелого крымского яблока. Пес ел аккуратно. И как-то вежливо, и оттого не верилось, что он — дворняга. Чем-то смахивал он на чеховскую «Каштанку». Видимо, невероятной преданностью, выражавшейся в том, как неотрывно смотрел он на хозяина даже тогда, когда вкушал свежую, еще теплую кровяную колбасу...

Месяцев шесть ходил пес за хозяином, спал с ним, мок с ним под дождем, мерз с ним в осеннюю промозглость, а после хозяин взял его и предал: ночью воровски уехал в аэропорт Кеннеди, а оттуда — в Брюссель, где облил грязью евреев, затем улетел в СССР, где поливал сионистов, которые, может, и не без греха, — напомнив евреям, что они — евреи.

Пожил Иосиф в СССР дней десять и начал сходить с ума. Захотел обратно. Все равно куда, только обратно. И посылки не помогли: он в Нью-Йорке своей двоюродной сестре оставил деньги на посылки. Она их ему посылала, а он на грани... А по телевидению выступает. Смотрит в широченные глазища камер и стыдно ему. И противно. И жить не хочется. И все-таки хочется.

А пес ходил по Брайтону. Целый месяц после отъезда хозяина ходил, а потом — сгинул. Пропал. К Иосифу пес тоже попал не шенком, а уже подзаборной собакой, ищущей тепла и ласки. Хочется верить: снова нашел он человека. Дай-то Бог несчастной собаке, да только, чтоб человек, ныне взявший его, никуда не стремился: ни ввысь, ни взад, ни вперед.

Чтобы человек просто жил.

Ибо суета в наш век особенно опасна.

НОСТАЛЬГИЯ

У меня, например, она началась сразу же, как подал я документы в ОВИР. Сперва я, кокетничая сам с собой, ее накачивал в письмах к Ларисе Мондрус, уже проживавшей в Риме. Я даже и не чувствовал ностальгии, а воображал ее. Сперва я представил себе ее в виде простоволосой женщины, высокой, длинноногой, с мягкими и теплыми карими глазами, с тонкой талией, крутыми бедрами и моей! — уходящей вдаль, не оборачиваясь.

Назвал я ее Ностальгия Григорьевна Порядочная.

Она уходила, а у меня тяжелело тело, свинцом наливался таз, болели мускулы ног, а в груди щемила тоска, тоска, тоска и виски, виски, виски стискивало, сдавливало, сжимало. Ностальгия Григорьевна уходила, но никак не могла уйти совсем. Не могла сгинути, пропасть. В этом-то и была ее сила и моя боль, что

она маячила все время. И до сих пор маячит. Уже все не маячит, прости Господи, а она — маячит.

Ночью иду по двадцать третьей с Иста на Вест, а впереди вдруг она. Я за ней вбег, догоняю — потрясающая женщина, но черная. И я готов на мену, но черная, похожая на Ностальгию Григорьевну, не готова, а если и готова, как это выяснить?

У нас, у русских, в крови преклонение перед Западом. Помню я был директором первых гастролей Венского балета на льду «Айс-ревью». Был у меня номер в «Метрополе». Я в нем не жил. В «Метрополе» жили госконцертниковские стукачи, но по положению сохранялся и за мной номер. И я его за полтора месяца использовал как только мог. И все — за счет акцента. Как скажет мне потная балеринка, расстегивая за кулисами крючки очередной «сменки» костюмной, «любоб», и я мчусь в «Метрополь». Акцент русских возбуждает. А западники к нашему акценту относятся без сексуального трепета. Или у нас акцент другой? Или наш мягкий знак сбивает их с толку? Не знаю...

Нет, нет, нет, все дело в женщинах. В русских женщинах. В них злая доброта и добрая злость. В них отдача до дна, эгоизм до небес. Сумасшедшие они, но вглубь. Бескорыстие в них хищное. Среди них, конечно, разные бывают, но в скольких — страсти азиатские: вроде стесняется, разгон издалека берет, раздеться при свете отказывается, а бесстыдство потом безграничное и сразу после — целомудрие. Глядишь и не веришь: было — не было, она — не она. Нет, не она, нет, она, черт возьми! Она знает, когда поддаться, когда отдаться, когда раскрыться и все это безотчетно, бесхитростно и мудро...

Даже в некрасивых, толстых с тяжелыми лицами русских женщинах есть зазывность. Глядит вроде бы безразлично и даже тупо, но это туман, а за ним?

РВАНЫЙ НЕВОД, СЕТЬ С ДЫРОЮ,
В ЖЕЛТОМ НЕБЕ ЩЕЛОЧКА —
КАК-ТО ЛЕТНЕЮ ПОРОЮ
ПОД ВЫСОКОЮ ГОРОЮ
СЛОМАЛ МНЕ МАЛЬЧИК ЦЕЛОЧКУ

Нет, нет, нет, все дело в природе, а она — подстать женщинам.

Тут находятся, кричат: «Тоска по советской власти, по рабству в крови, по вождам». Да подите вы к дьяволу! Какая такая советская власть? Вот если ее можно раздеть, медленно ища крючки совпроизводства, каждый из которых не расстегивается по полчаса, а порою и вовсе не расстегивается, и ты его рвешь и физически ощущаешь, как рвешь нечто большее, тогда я тоскую по советской власти. И бюсгальтер советский грубый, а из него

выпадает белым снегом, разогрето искрясь, грудь — иной раз небольшая, задорная, нежная, а порою огромная, размышляющая, которую можно перекинуть через плечо, как сомнение, а редко — нечто колдовское, рванувшееся к тебе сразу же после освобождения, как невеста моряка, пробывшего в плавании век. А покатоности, округлости, шелк, бархат и панбархат тела, кожи и пахнущая свежестью ненакрашенность губ и родинка в самом неожиданном месте — и ты, Колумб, ибо она и сама-то не ведала об этой мерцающей родинке где-то в пространстве необозримом божественного тела ее...

А есть, которые в объятиях твоих не шелохнутся, а в бессилии, в безволии, в безинтересе, в безстрастии кажущихся, втягивают тебя роково. И клубятся они горько-сладко, и обволакивают ядовито, и попадают в кровь, и с этим ничего нельзя сделать, а после вдруг обнаруживаешь, что все эти русские женщины — плод твоей еврейской фантазии, безудержной и могучей, надувающей любые паруса и ты, не Эйнштейн — Эйнштейн, только в других теориях, может, тоже относительных, но скорее — самых прекрасных и страшных теориях, где тонешь в таких омутках, что стоят жизни, которые и есть жизнь. Подумаешь так и попытаешься сбросить с себя все это, но нет — оно уже несбрасываемо, несмываемо, незабываемо, неизнечтожаемо, оно теперь уже — ты, и вырвать это так же бессмысленно, как вырвать себя из себя...

Многие эмигрируют и поэтому... Убежать от себя. Приезжают, убеждаются, что вышла попытка с негодными средствами, а где здесь русские бабы, чтобы заткнуть прорыв, зашить брешь, завалить провал? Нету, нету, нету, а вокруг тебя москвича, ленинградца, рижанина, киевлянина — Бруклин. Кто-то — ничего, приспосабливается, а кто-то враздрызг с ума начинает сходить, и тут нет ничего стыдного. Не по партии же тоска, по природе, ибо женщина — тоже природа, а ты — нет. Ты — орудие природы, а полагаешь, что природа — твое орудие, и на этом горишь... Русские женщины, это и еврейки, а особенно татарки. Ох, какие они русские, татарки, и Волгой пахнут речно, а после — теплой, разогретой водой, а уже совсем после — лугом, сбегающим к воде... И сеном, и еще чем-то. И когда хлебом — тоже теплом и уютом, и тянет побежать и вместе с ней испуниться...

Вот тут спор в эмиграции про мат: можно в литературе ругаться матом или нельзя. По мне — можно. Но это ж глупость, мол, без мата картина жизни неполная. Она и с матом неполная. Картина жизни полная и была-то у пяти-шести писателей в истории литературы, так и те матом не пользовались, обходились, а с другой стороны, мат — хорошо, но что есть мат?

Если разогреть воображение человека рассказом о любовной близости, то «член» прозвучит надругательски, как член партии, вступивший в новую ячейку, а ячейка тянет за собой пчел, а при чем в этот высочайший, трагический и небесный момент, пчелы?!

... Андрею Седых, заядлому врагу мата, передали, что я назвал его «ебанным редактором». Было такое, правда. Был зол, и назвал. Я прихожу к нему, а он шалит: «Это ж вы к ебанному редактору пожаловали?» Без зла шалил. Значит, дорос же, а остальное — провалы и чем дальше, тем глубже, но я к тому, что у него «ебанный редактор» прозвучал и не матерно, а почти как «мерси боку».

Умеют и женщины ругаться так, что словно жемчуг сыплют, а бывает — жабы выпрыгивают, как в сказке. У меня ностальгия по тем женщинам, которые ругаются жемчугом. Их, увы, мало.

МЕНЯ ВЕЗДЕ ЕБЛИ И УСЕ!
СВЕТЯСЬ, КАК НАТАТЕНИЯ,
ЕБЛАСЯ И НА КОЛЕСЕ,
И ДАЖЕ НА АНТЕНЕ Я

Многоэтажность мата — еще не его высота, не его фортиссимо, не его природное звучание. Ведь можно женщине сказать, держа ее в объятиях: «Какая же ты изумительная, прекрасная, неповторимая блядь!» — и она обидится, а можно найти паузу, мгновение и шепнуть летуче «блядь», и она задрожит и прильнет к тебе, а по-английски ты уже такой паузы сроду не найдешь и тоже от этого — ностальгия, ибо благодарная дрожь женщин — воздух мужчин...

Мы русские в сексе темные, убеждены на Западе, да и многие из нас так думают. А вы видели когда-нибудь «Ромашку»? А я видел. И был желтым центром. И был белым лепестком. И это — прекрасно. И при этом можно обходиться без мата. И вообще без слов... В углу торшер, в центре комнаты ковер и только густая атмосфера страсти до рыданий, восторга до хрипа, истомы до электрических разрядов тел о ковер...

И еще говорят: ах, Хендрик Смит, ах еще кто-то там! Они постигли Россию. Черта с два. И виноват не КГБ. Виновата их закомплексованность по поводу России. Россию надо постигать зверино. Сперва. После уже можно мозгами. А сперва зверино. Осязанием, обонянием, запахами, вкусом, чутьем, рефлексам. Между политикой Брежнева и Громыко и еблей на сеновале — прямая взаимосвязь. А журналисты начинают с того, как одеваются в Москве. А надо — как раздеваются в Москве. И не надо о том, что говорят и о чем думают ленинградцы, а о том,

что чувствуют ленинградцы. Вы что ж, господа, полагаете, что после татар, Романовых и коммунистов в СССР хоть какая-то серьезная связь сохранилась между мыслями, разговорами и чувствами. Вы уже давно торгуете искусственными членами, а Россия — нет, но там фантазия женщины и желание мужчины могут сотворить из ничего такой член, что вам и не снился.

НЕТУ МЯСА — ТОЧИМ ЛЯСЫ,
А В ТРУСАХ, КАК ТРОСТОЧКА, —
ХУЙ СТОИТ У НАС БЕЗ МЯСА,
ЗАВЕЛАСЬ В НЕМ КОСТОЧКА

Гитлер, в какой-то мере, сгорел и на недооценке российской фантазии. Да вы бы с голода померли тогда, когда Россия считает свой стол отличным...

А сколько тысяч эмигрантов здесь ностальгируют по тому, что некому похвастать новой рубашкой. Или — новой автомашиной. Да многим из них и не надо ничего, раз некому показать. Для вас этот факт не стоит внимания, а зря.

В США — небоскребы, но у русских выше все, ибо они сами — в небе своей фантазии, и не научно-фантастической, а божественной. Нужда заставляет жить фантазией. И там, в пустоте, в безрыбье, в безптичье, в бескрылье, фантазия цветет красными маками. Они все — наркоманы без наркотиков. А их алкоголики — не чудо, вот миллионы их дипсомаников — чудо. Не фокус пить все время. Не фокус не пить. А пить месяц, а после — не пить месяц — фокус. Коммунисты гонят верующих, религия которых не позволяет им работать по определенным дням, а полстраны дипсомаников не работают шесть месяцев в году, а другая половина не работает по понедельникам. Это — трезвенники. Они пьют только по субботам и воскресеньям, а по понедельникам у них просто элементарно болит голова...

Там — плохо. Там — страшно. Но там — неповторимо.

Россия неуклонно, упрямо и потрясающе целеустремленно движется вперед.

Если Великобритания, Франция, Испания, Португалия когда-то разрастались, то после пришлось им все или почти все отдать. А Россия?! Хоть что-то отдала? В чем же дело? Романовы не отдали, Сталин не отдал. Брежнев не отдал! Есть тут что-то, или это Хендрик Смит может объяснить? Я-то уверен, что может. Но не так, а так, как Запад уже столетия все объясняет, а именно: «У нас — демократия, а у них — нет». Верно, но почему? И на это Хендрик Смит, видимо, знает ответ. Но не верный.

Я встретил в доме у друзей молодого, умного американского журналиста, специализирующегося на России. Он пишет нынче

книгу об одном советском журналисте и писателе. Он самоуверен до такой степени, что с ним не хочется говорить после тридцати минут. Он все читал, все знает, проинформированный диссидентами, которые, за редким исключением, знают Россию гораздо хуже, чем Хендрик Смит. Так этот журналист взялся за тему, которая не по плечу даже Андрею Синявскому. А журналист уверен в успехе. И я уверен в успехе его книги на Западе, если он ее напишет. Но это же будет еще один ложный след, ложный свет, это будет еще более глубокое погружение в неправду, что, ой, как чревато, но это не волнует журналиста, ибо он, как почти все американцы, выяснив, что русские теперь уже безнадежно отстали в технике, не интересуются больше загадочной русской душой, раз русские по компьютерам позади и хлеба, чтобы прокормить себя, вырастить не могут. Вот ведь какая глупость, ерунда какая, а я от этого ностальгирую больше: не понимают Россию, не поймут и меня. Мне и язык-то учить не хочется. Зачем?

Из того, что я читаю в русских переводах, из того немного, что я понимаю по телевидению, мне, примерно, становится ясно, что те, кто информирует американский народ о России, об СССР, о его вождях, чаще всего пребывают в заблуждении, «заблуждая» американцев. Последняя серия передач Волтера Кронкайта о русской готовности, о русском отношении к войне — чудовищное заблуждение. Опасность его и в том, что сие дело проникновения в «мысли русских» доверяется людям, любимым нацией. Вожди и КГБ в СССР это понимают, и Кронкайту был устроен потрясающий потемкинско-сталинский спектакль. И Хендрик Смит и Роберт Кайзер также получали свое от стараний ГБ, не ведая того. Да, они беседовали с диссидентами, но те, за малым исключением, ни черта не знают, кроме внешнего, явного. Но под беседы с диссидентами всем «специалистам по России» подсовывают «отрепетированные откровения» типа легенд, разрабатываемых для шпионов-двойников... Однако, надо признать, что хоть что-то «специалисты по России» сделали, что-то поняли, что-то сумели объяснить, но радуют не они. Радуют советские вожди и их консультанты — арбатовы и Ко, добрынины и т.д. и т.д. Они-то тоже не поняли ничего в США, где информация доступней доступного. Насоветовали Афганистан и кое-какие авантюры в Африке и получили, слава тебе Богу, Рональда Эйгена и республиканцев. Казалось бы — ничего страшного: ну, четыре года, ну, восемь лет — и опять будет «Картер» в новом варианте, который станет принимать измученных в лагерях диссидентов в обмен на обманы глобальные, но нет!

Американцы медленно раскачиваются. Всерьез с Гитлером

они не могли раскататься несколько лет, но стоило им раскататься и что? Завалили союзников и себя оружием, продовольствием, надеждами, армиями, флотом, невиданным воздушным флотом, идеями, изобретениями и прочая, и прочая, а под занавес поставили точку в Хиросиме и Нагасаки. Нынче в другом варианте намечается нечто похожее на отрезвление и прозрение сорок первого года. Оттого и Польша бастует, а советская лиса, которой польская виноградина на полглотка, сидит и не рыпается. Только подзаборно вякает. И ведь какую простую вещь, ну, не хотят американцы понять: цыкнуть на сявку, она и хвост подожмет! Вот так мы думаем, приехав в США, но стоп!

Кто только не ругает Запад, что он, де, коммунизма и сути его не понимает, и лишь мы — умники все знаем и все понимаем. Правда, про коммунизм мы знаем чуть больше их, за счет спины — на собственной спине его испробовали, но и мы-то Запада не знаем и беремся его учить. Чему? Пониманию России. Это — одно. Понимание СССР? Это — другое. Пониманию вождей коммунистических и их политики. Это — третье. Оно все взаимосвязано и нет. Любит же русский народ США?! Любит! А вожди ненависть к США разжигают всю свою историю. Проблема? Да...

А мы-то почему учим Запад пониманию? А сами-то мы Запад понимаем? Вон Александр Исаевич заучил бедняг американцев и прочих шведов, вызвал к себе неприязнь, а после, когда он уже на Запад и рукой махнул, американцы р-раз и выбрали Рейгена, то есть политику открытых глаз, осторожности, бдительности и даже агрессии против агрессии, что для американцев вообще-то историческая редкость. Тут, видимо, есть вклад и Александра Исаевича, не без того, и все же надо, видимо, научиться учить, а то мы по-советски учим: зуботычинами, оскорблениями, руганью, мол, слепые дураки, а кому это нравится, когда его в собственном доме оскорбляют? Только нам и азиятам. Да, еще вон чукчи, по-моему, где-то в районе Якутска живущие, любят такую штуку: заехал гость, его кормят и кладут спать с женой своей. А коли гость откажется, хозяин на него в смертельной обиде: как это так, ты с моей женой переспать не хочешь! Брезгуешь? Оскорбляешь?

В России этому нынче тоже удивляются и говорят: «Как же это, в наше время, и такой обычай сохранился дикий?!» А ведь вожди с русским народом проделывают это до сих пор. Некогда барин допреж, чем отдать жениху невесту, имел право первой ночи. А нравилось, так и последующих. Сие сохранилось более страшно, но завуалированно. Разве ребята, гибнущие в Афганистане — не то же?! Разве Россия без хлеба — не то же? Разве

Россия, раздаривающая оружие всем в мире, кто хочет убивать, — не то же?

Разве русские люди и остальные граждане, проживающие в СССР, этого хотят?! Конечно, нет, а вожди забрали у них право и брачных и внебрачных дней и ночей, забрали их в кабалу вместе с жизнями. И банкуют от их имени, разменно, по мелочи швыряют на грязное сукно игрального своего стола русские судьбы, как фишки. И это — не загадка. И то, что народ все это терпит — не загадка. А загадка в том, что русские понимают, почему вожди это себе позволяют проделывать с ними, но молчат. Боятся? Но вожди тоже боятся. Не то, чтобы они в народ верили, как в потенциальную силу, но больно у них ставки велики. Нет, ничего загадочного в русской душе! Разве что рабство непереносимое, непроходящее, безнадежное. А — Сахаров, Солженицын, Галич. И с другой стороны — Распутин, Высоцкий, Владимов и две-три сотни безвестных героев, увы, лишь исключения, подтверждающие правила... К чему это я?

А к тому, что вот американская душа и впрямь — загадочная. Только они об этом мало пишут, мало говорят. И еще к тому я об этом заговорил, что ностальгия наша объяснима. Еще князь Курбский ностальгировал. Ну, ладно, ему, как и нам, нельзя было вернуться, он и дурил, а, скажем, Блок! Поехал на месяц в Италию и так ее и не увидел. Ностальгировал по России. По хаму-жандарму. По тому, чтоб обложили, а то и в морду сьездили...

Рождаются в России исключения: Герцен, Александр Иванович, например, а нынче Михаил Барышников. Они родились для воли. Но их в России мало, и даже такая большая личность, как Солженицын, я уверен, хоть и не знаю точно, ностальгирует и спасается лишь работой адовой.*

Да, не зря я по своему разумению начал вскачь разговор о ностальгии через нашу тоску по русской женщине. Она ближе к природе русской. Их обеих осенью раздеть проще и достать проще. Да они осенью и сами это делают. В оголении, обнажении открываются шири и глубины. Весной они зелены и кислы, и нет в них сладости, нет горечи, нет тоски и боли, а без этого разве ж природа, разве ж женщина?!

Вот как мы устроены, рабы: по тем местам, где родился, где били тебя, терзали, обижали и сажали, гнули и выжимали — тоскуем беспробудно. И вообще-то, есть в человеке эдакие задатки патристического мазохизма, а уж у нас их — через край. Ту горестную природу — не забыть, тех женщин — не забыть, а надо! Надо! И природа российская, и женщина русская придуманы, чтобы ослаблять нашу решимость, чтоб стачивать наше

* О них, обо всех — в книге «Тоска в области сердца».

достоинство и самоуважение, — думаю я и думаю: подойди сейчас сзади и обними меня та самая русская женщина, а небо в миг этот чуть приспустишь, сделайся чуток серей, замороси дождичком, покатайся в дом вечер без заката и с мутным фонарем на дальнем углу, а женщина осторожно тронь тебя, да и не тронь, а дотронься... Сюда бы скрипку вообразить, а я — глубокую тишину, когда уже и дыхания нет и такая погруженность, что вытаскать себя уже нельзя. Разве что много, много позже.

ПО САХАРЕ МЧАЛСЯ ВЕТЕР,
А Я ТОЛЬКО АХАЛА —
СЛАЩЕ ЕБЛИ НЕТ НА СВЕТЕ
НИКАКОГО САХАРА

МЬЮДАГ!

У КОГО — ВАКАЦИИ,
У КОГО — ПОЛЮЦИИ,
А У ЯВРЕЕВ — АКЦИИ
НА ПРАВО РЕВОЛЮЦИИ!

Эмиграция, черт побери, — чехарда!

Эмиграция, мать ее за ногу, — чудеса в решетке!

Эмиграция, бля, это — почти эвакуация, а иной раз и хуже! А иногда — смешней. Иной раз — фантастичней. Ну, вот вам ерундовый случай. Жил в городе Ташкенте на улице хорошей в доме чуть ли не самом лучшем и в квартире, полученной им по стечению обстоятельств неправдоподобных, один еврей. Нерядовой. Впрочем, рядовых евреев не бывает. Любой самый захудалый еврей — уже, как минимум, старшина или кандидат наук. Евреи — нация крайних. В этой команде нет средних и полусредних. Евреи — или защитники, или нападающие.

Мне могут возразить: «А Эйнштейн? Он же не просто умный?» Конечно, но я тут же добавлю: «А Рабинович?» Он же не просто дурак?! И, вообще, евреи — это не просто, но не буду уступать дорогу ассоциациям.

Ташкентский еврей, живший в обкомовском новостроенном после землетрясения доме, был кандидатом наук. То есть он и сейчас кандидат исторических наук с такой темой, что вы можете закачаться, если учтете: он живет ныне в пятисотдолларовой квартире в Нью-Йорке. Тема его трудов многолетних звучала так: «Фальсификаторы ленинской политики в республиках СССР — на Западе!» Суть, соль, смысл его трудов праведных коротко сводился к тому, что: «На Западе историки — жулики доказывают, что ленинская политика в советских республиках

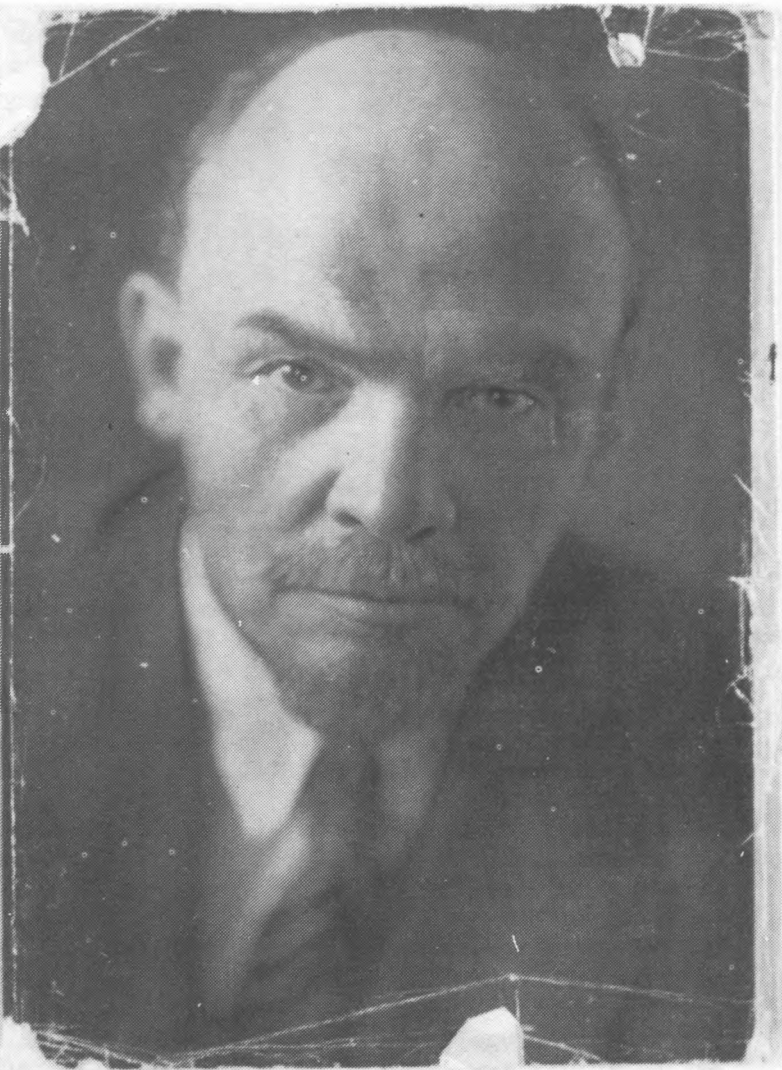
— плохая, а она, ленинская политика в этих республиках, — хорошая. И даже — гениальная. А западные жулики — не историки, а — фальсификаторы!» В основном наш кандидат работал с западногерманскими источниками, которые, в свою очередь, частенько цитировали в своих трудах «американского фальсификатора» профессора Александра Ривкина, тоже еврея. И вот наш кандидат-ленинец вел многолетнюю дуэль с профессором Ривкиным. Дуэль была заочной, через океан. Да, забыл. Два еврея спорили на базе узбеков по мотивам русского татарина с еврейским оттенком, то есть по мотивам товарища Владимира Ильича не Тарло, но Ленина. И вот кандидат решил мотануть. Плов пловом, изюм изюмом, а жить-то хочется. Пусть узбеки доказывают сами, как им хорошо, — решил кандидат и был таков. В Ньюйоркском университете он встретил впервые в жизни своего оппонента, профессора Ривкина, по-нашему — Сашку Ривкина. Сашка оказался прекрасным парнем. Он хлопал кандидата по плечу, обнимал его, лез целоваться и, вообще, вел себя как добрейший и глупейший сенбернар, встретивший в холле квартиры своих хозяев взломщика. Нет, упаси Бог, наш кандидат не был взломщиком. Он был в смысле «взять чужое» честным человеком. Он счел бы постыдным взять без спроса, хотя бы одно печенье с блюдечка. И Ривкин был и есть такой же. Они сто раз беседовали и выяснили, что из них троих лишь Ленин был мудак. Профессор произносил это слово очень даже симпатично: «Мьюдаг!»

Ривкин хотел помочь кандидату взлететь на орбиту «Советские фальсификаторы грабительской политики Ленина в национальных республиках», но кандидат стал программистом. Мне он, получив работу на семнадцать тысяч, сказал: «Уф! Как гора с плеч!» Сказал и исчез с моего горизонта, оставив кометный хвост в моей испещренной памяти. В ней было наворочено — ужас! А среди навороченного ворочалась мысль: «А что же евреи? Евреи что же? Ну, помогли они Ленину сделать революцию? А дальше-то что? А другие нации что? Те, кого освободил товарищ Ленин от капитализма. Что они?» Хотел у кандидата уточнить, но он — исчез. И тут вспомнилась мне одна история.

ЛЕНИН НА БРОНЕВИКЕ

Столетие со дня рождения Ленина начали «праздновать» года за полтора до торжественной даты. Все предприятия и учреждения, все коллективы мирные и военизированные, все объекты секретные и несекретные взяли на себя обязательства в честь славной годовщины. Техника этого всенародного «энтузиазма» несложная и отработана с первых же лет существования советской власти.

ВЕЧНО ЖИВОЙ





Лауреат Ленинской премии, Народная артистка СССР Людмила Зыкина, лауреат Сталинской премии, заслуженный артист РСФСР Михаил Александрович (ныне, кроме имени и фамилии у М. Александровича никаких званий нет. И — не надо!)



Воистину народная артистка Людмила Гурченко и Борис Сичкин. Беседа у камелька



1933 год. Дальний Восток

Группа артистов. В центре 2 ряда: третий слева Л. Леонидов, четвертая слева Е. Леонидова. Крайний слева — чекист, сопровождающий группу, выступающую для начальства первых лагерей на Д.В.К.

ВОЖДИ — ЕВРЕИ

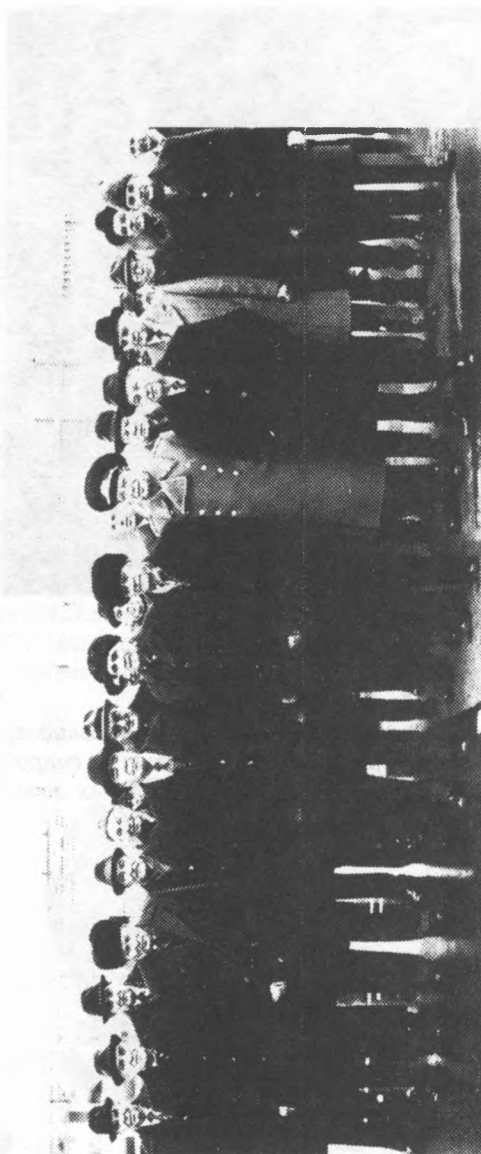


Фото В. Кошечного и Я. Соболева (ТАСС)

Проводы на Внуковском аэродроме

Л. Брежнев и Ко

Они провожают

ЕВРЕИ — ВОЖДИ



Москва. Ресторан «Гранд Отель»
Садьба И. Кобзона и В. Кругловой
Шафер П. Леонидов, за В. Кругловой — Г. Мосолов
А они уезжают



1981 год, Нью-Йорк
Василий Леонидов — американец



1981 год, Нью-Йорк

Ольга Леонидова — не русская, не еврейка, не американка, впрочем, почти — американка, немного — еврейка и капельку — русская



Слева направо: Яков Флиер, Сергей Балашов, Михаил Александрович, Юрий Левитан.

Евреи «соображают на троих» русского С. Балашова.



Левая ложа Колонного зала:

М. Магомаев, А. Пахмутова и космонавты В. Терешкова и А. Береговой

Происходит это так: ЦК КПСС «спускает» партийным органам и прессе через свой идеологический отдел и отдел печати утвержденные лозунги — штампованные выкрики по поводу, а также общие и постоянные клятвы, требования, протесты, задачи.

Немедленно вся страна берется за кисти. Лозунги пишутся на заборах, железнодорожных насыпях, стенах домов, красных полотнищах, досках почета. И в газетах — ежедневно по пять-шесть лозунгов, а иногда сразу по двадцать-тридцать. В журналах толстых и тонких, кабинетах руководителей всех мастей и рангов, школах, яслях, детских садах, институтах, клубах, дворцах культуры, тюрьмах, лагерях, пионерских и концентрационных, цехах, больницах и управлениях КГБ, МВД, детских домах и домах престарелых, колхозах, совхозах и т.д. — лозунги.

После того как лозунги опубликованы — возникают «стихийные собрания», на которых рабочие и служащие дают «личные» повышенные трудовые обязательства в честь дня рождения Ильича. Каждое такое «индивидуальное» обязательство заранее просчитывается в плановом отделе таким образом, чтобы заданная цифра, заведомо завышенная, оказалась еще чуть-чуть выше и подчеркивала патриотизм руководства и парткома данного предприятия.

Художники с ног сбиваются и не успевают выполнять заказы на портреты вождей. Напрягается полиграфическая промышленность: плакаты, открытки, книги, брошюры, листовки, буклеты.

Но самую бурную деятельность во время кампании развивает центральное радио, телевидение и Министерство культуры СССР и союзных, а также автономных республик. Студия грамзаписи и фабрики грампластинок, входящие в систему Министерства культуры СССР, издают многомиллионными тиражами, миллион раз изданные и умышленно перебитые (т.к. никто не покупает), а затем списанные комплекты речей вождя. Лично за подписью министра культуры СССР рассылаются по театрам, концертным организациям и творческим союзам директивы, приказы, разъяснения и пояснения. Объявляются конкурсы с денежными премиями на лучшие оратории, симфонии, оперы, картины, кинокартины, плакаты, рисунки, балеты, пьесы одноактные и многоактные, песни, стихи, рассказы, воспоминания, монологи «про вождя».*

Однажды в один из дней этого незабываемого года зашел ко мне мой добрый приятель — коллекционер монет и медалей.

* На этих благодатных нивах «пасутся» десятки тысяч евреев, в основном поменявших фамилии.

Был он печален. Оказывается, объявили повсеместно, что лучшим из лучших на всех предприятиях страны будут вручаться ленинские юбилейные медали. Приятель мой — человек тихий, беспартийный, и шанса получить медаль у него не было. Вот он и грустил. А что с него взять — коллекционер.

И вот наступили предпраздничные дни. Захлебывалось радио, мелькал Ильич на всех телевизионных экранах, а месткомы, парткомы, завкомы, райкомы и обкомы заседали сутками: кому дать, а кому не давать ленинскую медаль. Моему приятелю, его жене, моей жене и мне — медалей не дали. Он тосковал, а я ничем не мог ему помочь.

Прошло три дня с первого торжественного дня вручения медалей, которое транслировалось по телевидению и снималось кинохроникой по всей необъятной стране. Вечером третьего дня вбегает ко мне возбужденный и радостный коллекционер. Кричит: «Слушай, можешь быть человеком?! У тебя ж машина. Давай махнем в одно место. Мне позарез нужно!» И мы поехали на Автозаводскую — район самого крупного в стране автомобильного завода имени Лихачева, прежде носившего имя Сталина. Картина, которую увидели мы прямо возле станции метро «Автозаводская», заслуживает детального описания. Представьте себе рабочий район Москвы — пять пятнадцать вечера. Улицы полны усталых работяг, идущих с заводов. У магазинов и гастрономов собираются таинственные группки по два-три человека. О чем-то шепчутся. Заходят в магазины, потом уединяются в подъезде или подворотне. Что же происходит?

В СССР с тех самых пор, как резко начал повышаться жизненный уровень трудящихся, у работяг стало не хватать денег на водку, и стали они в связи с недостатком средств «соображать на троих». Сообразить на троих означает приобрести поллитровую бутылку водки, которая в ленинском году стоила еще три рубля семнадцать копеек, а нынче и еще подорожала. И собираются работяги «на троих», а кто победней и «на четверых», чтобы «пропустить по маленькой» без закуски. Пьют ее, родимую, из горлышка, сочно причмокивая и аппетитно утирают рукавом влажные губы.

Мы поставили машину недалеко от метро, и приятель буквально потащил меня: «Скорей, скорей, а то медали кончатся!». Я тороплюсь за ним и ничего не могу понять: «Как это могут кончиться медали? В магазинах их продают, что ли?» Мы зашли за станцию метро и увидели стоявших вдоль деревянного свежешелюшенного в честь юбилея забора человек двадцать рабочих, окруженных мальчишками, которые, как потом выяснилось, тоже были коллекционерами. Рабочие держали в вытянутых руках на открытых ладонях ленинские медали. Шла ленивая торго-

вля. Продавцы предлагали медали по три рубля и по три рубля двадцать копеек за каждую. До сих пор я считаю, что мой приятель поступил в тот вечер некрасиво, но утешаюсь тем, что мальчишки-коллекционеры наверняка сумеют приобрести себе эти медали по полтиннику. Увидев продавцов с медалями, мой приятель кинулся к ним и купил медаль, не торгуясь, за три двадцать. Сунул ее поглубже в карман и, лишь после этого успокоившись, деловито подсчитал продавцов. Их оказалось семнадцать человек. Тогда он выгреб из карманов всю свою наличность — двадцать три рубля, что-то помножил про себя, взял у меня займы одиннадцать рублей и зычно крикнул, что берет все медали по два рубля.

Когда мы уселись в машину, я спросил его, зачем ему столько ленинских медалей. «Для обмена», — ответил мне довольный и убаженный обладатель восемнадцати ленинских медалей, которые распространялись среди самых достойных месткомами, профкомами, завкомами, парткомами, райкомами, горкомами и обкомами.

Летом того самого предъюбилейного года вызвал меня к себе министр культуры РСФСР Алексей Иванович Попов и поручил организовать ряд праздничных ленинских концертов в городах РСФСР. Задание министра, если можно так выразиться, было двухплановым: первый план — юбилей, а главный план — поддержать сбором со стадионных концертов разоренные показушными мероприятиями городские концертные организации. Одна только демонстрация дружбы народов СССР (показ в российских городах десятков национальных хоров и коллективов, которые зрители не посещали, но которым пришлось платить по указанию министерства огромные деньги) обошлась городским концертным организациям по двести-триста пятьдесят тысяч рублей убытка каждой.

Итак, мне поручили возглавить охоту за двумя зайцами. Прежде всего необходимо было раздобыть Ленина. За ним я и отправился в Московский академический художественный театр им. Горького. Но пошел не к актерам, а к художественному руководителю театра Кедрову. Прежде я мог бы связаться непосредственно с актерами, но министр культуры СССР Фурцева недавно опубликовала приказ, по которому ни один театральный актер не мог принять сторонний концерт, не получив на это разрешения художественного руководителя или директора театра. Приказ этот имел две цели. Первая — у каждого советского театрального актера есть норма спектаклей, которые он обязан сыграть. Со времени вновь начавшегося повального оглушения репертуара театров многие большие актеры начали уваливать от ролей. И делали это так успешно, что возникли у них крупные

недоработки. Зарплата идет, а норма не выполняется. Вторая цель имела более глубокие корни. Начиная с середины пятидесятых годов, ЦК КПСС через все творческие союзы, Комитет радио и телевидения, Министерство культуры СССР начал исподволь, но планомерно и жестко, оказывать экономическое давление на интеллигенцию.

В театре я Кедрова не застал и направился в Артистическое кафе, что находится напротив и чуть наискосок от МХАТа с незапамятных времен. Это кафе — духовная отдушина мхатовских актеров, как все и вся в мире советского искусства, деградирует. Висели в нем когда-то люстры старинные, виселись когда-то за стойкой буфетной огромные фарфоровые и хрустальные с серебром вазы, сидели за столиками интеллигентные люди, и мхатовцы чувствовали себя в кафе, как дома.

Но после очередного «потепления» вывезли из кафе (из всех московских и ленинградских кафе, магазинов, ресторанов, подвалов музеев) всю старину для продажи за границу. А тут еще начали «вымирать мамонты», и сменилась клиентура. Воссели за столиками, вместо чеховских да ибсеновских героев, герои Вишневского и Белоцерковского. Завонаяло в кафе яичницей пережаренной и ногами. И там, в углу слева за столиком, где сживал Михаил Булгаков, сидит передо мной здоровенный жлоб с деревянной мордой и с шумом-причмокиванием пьет чай.

Однако сильны в нас привычки, ох, как сильны. И ходят попрежнему в кафе мхатовцы. Застал я за столиком у буфетной стойки и Кедрова. Объяснил ему что к чему, и дал он свое «добро» на увоз в Чувашию Ленина — Смирнова и часовщика — Петкера при условии, что прихвачу я вместе с ними на стадион еще двух-трех старичков мхатовских, в деньгах нуждающихся. Поясню, отчего актеры заинтересованы в выступлениях на стадионах. Дело в том, что за два выступления на стадионе актеры получают шесть концертных ставок (за позор, за холод, за дождь), что в переводе на деньги означает для народных артистов СССР 16 рублей 50 копеек, помноженные на шесть, то есть за трое-четверо суток, считая дорогу, и за два выступления артист получает «чистыми на руки» примерно девяносто рублей. С одной стороны, это месячный оклад врача и полуторамесячный оклад воспитательницы детского сада, но, с другой стороны, весь фонд заработной платы актерской труппы на стадионном мероприятии не превышает двух-трех тысяч рублей, а сборы на стадионах колеблются от двадцати и до ста тысяч рублей. Так что ограбление актеров, несмотря на то, что они занимаются не столько искусством, сколько восславлением тех, кто их обирает, в процентном отношении от приносимой ими прибыли, самое бесстыдное.

Смирнов, к моему удивлению, согласился сразу. Но Петкер был болен. Мне порекомендовали обратиться к Ливанову, который мог сыграть с Лениным сцену из тех же «Кремлевских курантов». Правда, часовщик, хоть и еврей, все же пролетарий, а инженер Забелин — интеллигент, но раз болен пролетарий, придется использовать интеллигента.

С Борисом Николаевичем Ливановым у меня были хорошие отношения, но он мне отказал сходу. «Стыдно же, стыдно же эту галиматью перед ста тысячами играть, черт побери!» Фраза дословна, и только «черт побери» я вставил взамен более сочного, более русского, более ливановского!..

После категорического отказа Ливанова я оказался в тупике. Через два дня концерты в Чувашии, а Ленина нет! Где взять Ленина? Сезон кончался, и те театры, где имелся в наличии Ильич, либо отбыли на гастроли, либо отпустили труппы на отдых. Выручила меня сотрудница Министерства культуры Лилечка Коврайская. Она сказала, что мне повезло и что в Москву с просьбой о повышении ставки приехал не то из Саратова, не то из Сызрани, не помню точно, актер специализирующийся на образе вождя. Согласия этого актера не спрашивали, и на следующий день мы с ним летели в Чебоксары — столицу Чувашской автономной республики. Казалось бы, все хорошо, но в самолете мы с актером схватились, что не взяли с собой ленинского партнера. Бородку и грим Ильича актер всегда имел при себе, а вот как достать в Чебоксарах Свердлова, Дзержинского или Крупскую мы не знали. По прибытии выяснили, что и русский и чувашский театры находятся на гастролях. Что делать? Выход нашел режиссер концерта — эстрадный актер Николай Рыкунин. «Раз нет партнеров, давайте провезем его на броневике по кругу. Пусть стоит с поднятой рукой, и все!» Идея! Да, но где взять броневик? Танков в Чувашии много, так как эта автономная республика — один из центров концентрационных лагерей. Но броневиков-то в Чувашии нет! «Надо на любой грузовик надстроить фанерный макет», — сказал бывалый стадионный режиссер, который, видимо, не раз и не два возил Ленина по кругу.

В нашем распоряжении осталась одна ночь, так как на следующий день должна была состояться генеральная репетиция и прием концерта большой комиссией с представителями из Министерства культуры РСФСР. Как за ночь сделать броневик? И пошли мы в обком. И не просто в обком, а к первому секретарю — чувашу (тогда еще в автономных республиках на роль первых секретарей назначали национальные кадры), милому человеку, большому любителю эстрады и цирка. Секретарь принял нас, несмотря на позднее время, ласково и немедленно дал указание

доставить в обком директора самого крупного чебоксарского завода. «Как тебе будет угодно, а чтобы к утренней репетиции броневик был!» — сказал первый секретарь.

Утром на генеральной репетиции появился свежеевыкрашенный в густую зеленую краску броневик. На башне у него зиял здоровенный красный флаг. Проехал броневик по кругу, и все остались довольны. Кроме Ленина. «А как же я на него вечером забираться буду? И за что мне держаться, чтобы не упасть?» «Это не проблема! Мы вас заранее посадим, а держаться будете за древко флага», — сказал находчивый режиссер.

Столичные актеры не баловали Чувашию визитами, а на это мероприятие я собрал много популярных артистов. Зрители, заведомо зная, что аппаратура на стадионе негодная, что ничего они не услышат, все равно пришли, выложив по два кровных рубля за билет, только для того, чтобы поглядеть на любимых актеров «живьем».

Привез я в Чебоксары ныне покойных уже Лидию Русланову и Марка Бернеса, а также ныне здравствующего Юрия Гуляева. Девушки осаждали гостиницу, чтобы «вблизи поглядеть на Юрочку», который прекрасно пел в киевском оперном театре и не был никому известен до той самой поры, пока не пустился во все тяжкие и не начал петь песни по телевидению на праздничных «Голубых огоньках».

Еще привез я на стадионные концерты двух «киношников» Дружникова и Стриженова — популярных артистов кино, которые на сцене делать ничего не умели, но обязаны были «делать кассу» и ездить по кругу с широкой улыбкой в открытом обкомовском «ЗИЛе».

Концерт начался с монолога, восславляющего советскую власть за то, что освободила она чувашский народ от царя и капиталистов. Читал монолог, который сам и написал в «стихах», конферансье Эмиль Радов.* Помню строчку из этого «произведения», посвященную вождю мирового пролетариата: «На насыпи слова привета и профиль доброго лица...» Запомнил я эту строчку потому, что именно она вызвала на предварительном прослушивании бурные восторги первого секретаря обкома, который за этот монолог наградил Радова грамотой Верховного Совета ЧАССР и двумястами рублей.

Монолог закончился под жидкие аплодисменты, и на беговую дорожку под хриплый, транслируемый через радиоузел «Интернационал» выкатил зеленый броневик. Выкатил и вырулил прямо к центральной трибуне, где сидело все местное прави-

* Эмиль Радов-Рабинович полжизни пытался поменять фамилию Рабинович в паспорте. Но так и не разрешили ему это.

тельство с семьями. И тут произошел казус. Как и было намечено, актер в гриме вождя судорожно держался за древко флага, чтобы не свалиться. Все было продумано, кроме одного: не додумали, не выяснили, а как же, на чем держится само древко?

И вот перед правительственной трибуной раздался злоежущий треск и хруст древка, Ленин покачнулся, взмахнул руками и полетел с броневи́ка не беговую дорожку. Возникла мертвая пауза, а потом стадион грохнул. Смеялись тридцать тысяч чувашей и русских, освобожденных советской властью и лично Лениным от царя и капиталистов, так, что двадцать минут мы не могли продолжать концерт. Правительственная ложа, как только начался смех, мгновенно опустела. «Вечно живого» подхватили и поволокли под трибуну. У него оказалась сломанной рука.

Когда два популярных киношника, которых выпустили досрочно, чтобы остановить смех, сделали вместо одного три круга, стадион стих, но и до конца концерта и еще несколько лет спустя в городе возникал хохот, когда жители вспоминали падение с грузовика Владимира Ильича Ленина.

Эта история имела два продолжения. Во-первых, актеру, свалившемуся с грузовика, не повысили ставки и не дали обещанного звания заслуженного артиста РСФСР. Во-вторых, когда я через несколько месяцев зашел в Артистическое кафе, то застал там Бориса Николаевича Ливанова с компанией мхатовской молодежи. Увидев меня в дверях, кто-то быстро рассказал эпизод с товарищем Лениным в Чувашии, и все расхохотались. Я догадался, что смеются по поводу моего появления, и подошел. Тут же выяснилась и причина несмолкавшего хохота. В паузе между взрывами смеха Борис Николаевич своим неповторимым, раскатистым голосом сказал: «Бог шельму метит». Кого он имел в виду, не знаю.

И НА ГОСДЕПАРТАМЕНТ БЫВАЕТ ПРОРУХА

Эта повесть на первый взгляд не обладает четкой формой. Кто-то съязвит: «И на второй — тоже». Возможно, однако должен заметить, что эмиграция из СССР также не обладает четкой формой. И, думаю, две эти нечеткости тесно взаимосвязаны. Они — неразрывны и вытекают одна из другой. В будущем году, будем живы, вытечет из этой повести следующая книга — о идущем параллельно с разрешенным бегством бегстве неразрешенном... Тут надо заметить, что «бег от», «побег от» всегда связывается с преступлениями. Или — с войной. Ко-

нечно, бегут от мужей, жен, долгов и прочая, но это — не массовый бег. Бег из СССР, продолжающийся уже шестьдесят четыре года, связан с организованной преступностью, от которой люди норовят уйти, убежать, сорваться и оторваться. Нет ничего более страшного, чем организованная государственная преступность. Да и не было такой до Ленина-Сталина и Гитлера. (Есть и были скопированы по ленинско-сталинскому образцу преступные режимы в Восточной Европе, Азии, Африки и на Кубе, но это — перепечатки с негативов).

И люди бегут летом, вплавь, пёхом, врозь, вместе. Бегут, бросая все. Порою даже родных...

А порвите, нарушите, рассейте в СССР хоть на день родственные, кровные связи, сотрите из памяти понятия «сын», «отец», «дочь» и т.д. И что? Страна сбежит, оставив алкоголиков, паралитиков, сумасшедших и Политбюро.

И откуда, описывая это, может взяться четкая форма. Гнев, с болью и любовью перемешанные, дадут ли четкую форму? Самая четкая мысль и при найденной форме деформируется на глазах от приступа горечи. Мысль взорвется и потечет лавою, а лава не имеет русла. Лава способна образовать русло, а способна и к хаосу...

Я не хочу сказать, что нельзя найти, коли искать, сходных черт СССР, допустим, и США. Есть такие черты и не может их не быть, ибо люди — люди, супердержава — супердержава, бюрократия — бюрократия, но в США, как решетка, ограждает человека от злых сил — Конституция, Великое Произведение Человеческого Духа, не имеющее на бумаге равного, кроме, конечно, Книги.

Если объективно, так Бог и его ученики и последователи уже давно не вносят поправок в Книгу, а вот в Конституцию поправки вносятся. Не всегда, видимо, верные, но всегда поправки — поиск, попытки, надежды. А и Конституция США, имея почти идеальное звучание в хаосе мировой какофонии, тоже не совершенна, так как ее — прочитывают люди.

В январе 1974 года я приехал в Рим. Летели мы из Москвы в Вену вместе с семьей: старенькая, под восемьдесят, мать, ее дочь с десятилетней дочкой, ее сын с женой и сыном, а всего шесть человек. И из них трое — в прошлом граждане США. Предыстория истории такова: в конце двадцатых годов мистер «Р» с женою и двумя малолетними детьми уехал по убеждениям и по контракту из США в СССР. Приехав в СССР, «Р» отказался от американского гражданства. Жена не хотела отказываться, но это были махровые времена созревания «новых идей». И жене сказали, что она должна быть счастлива получить гражданство великой страны, впервые в истории человечества

строящей социализм. Маячила тюрьма, и были крохотные дети. И жена сломалась. И, скажу от себя, верно поступила. Очень даже просто тот режим растоптал бы ее, а заодно уже и мужа. Шли годы. Семья «Р» жила в СССР, видя, как на их глазах уничтожают и американских легковых, и просто коммунистов, приехавших помогать строить этот, тогда пресловутый, а нынче распроклятый социализм.

«Р» повезло. Случайно или был он пособником, а по-русски — стукачом — кто теперь знает, но он уцелел. Да и тогда — кто мог знать о стукачах, кроме жертв. Жертвы — в земле, а оттуда донесется все равно, но когда?

«Р» умер своей смертью уже после смерти Сталина. Дети выросли, обзавелись семьями, но снились им Бостон и США, свобода, которую не помнили они на себе, но толкала их несвобода, познанная на себе, к свободе, о которой читали и слышали.

И вот началась эмиграция. И в октябре 1973 года они вылетели из Москвы всей семьей. Первый акт трагикомедии был закончен. Занавес опустился среди кучевых облаков и недобрых взглядов стюардесс.

Мы познакомились с ними в самолете. Это были милейшие люди. Трудным был только сын сына «Р».

В Риме мы подружились с бабушкой, дочкой и внучкой. И поэтому были в курсе действий американской бюрократии.

Коротко говоря, все взрослые в семье, родившиеся в Штатах, очень скоро получили американское гражданство, а вот почти восьмидесятилетней старухе не давали даже права въезда... Отступлю: самое страшное лично для меня в советском режиме — его злобная памятьливость, его неуспокоенность в мести, ибо ноги всех агрессий режима растут от этого. И от зависти.

Сын «Р» давно уже уехал в Штаты, устроился в одном городке Нью-Джерси инженером и жил не слишком счастливо, ибо у жены мама осталась там, у мамы — муж, у мужа — дети от первой жены, а значит: бабка за дедку, дедка за репку и т.д. Его сын ударился в религию и ушел из семьи. И все же сын «Р» был счастлив.

А вот мать семьи с дочкой и внучкой пребывали в Риме. Дочка — американская гражданка — работала, а старуха сохла: ей хотелось успеть на родину, хотелось в Бостон, хотелосьдохнуть родной землей, хотелось не быть камнем на шее у дочери и внучки. По Библии, Конституции и прочим человеческим и божеским законам старуха ни в чем не виновата, но Госдепартамент США был обижен. Он был так серьезно обижен на старуху, что не пускал ее домой ни на каких условиях, ни даже как беженку. Никак не хотел пускать Госдепартамент эту несчастную жен-

щину, а на самом-то деле, коли честно, ну, не Госдепартамент, а некий человек, два человека, три человека, — не Госдепартамент...

Пустили наконец! После почти двух лет ожиданий, а ведь разобраться со старухой можно было с помощью Си-Ай-Эй дня за три. А скорее всего — за час.

Сейчас три женщины живут в Бостоне. Я был у них. Они счастливы, но порою старуха вдруг ни с того ни с сего запечалится, задумается, загрустит. В ее грусти — вся ее несложившаяся жизнь, а в ней — и два года римского ожидания. И эти два года — на совести Госдепартамента, но главное: Конституция США одержала верх над человеческим бездушием, ленью, упрямством, мстительностью и глупостью, а потому я — не гражданин США, а только резидент, — говорю: «Господи, ты столько проглядел и пропустил за последние века, что, пожалуйста, сосредоточься и не пропусти эту потрясающую страну, это чистилище, из которого люди могут попасть в Рай, без которой некому будет претворять Твои заветы. Аминь».

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ТАРЛО

Владимир Ильич Тарло говорил Эфраиму: «Понимаете, Эфраим, нас просто черт попутал поехать в США. Вы думаете, я боюсь врачебных экзаменов? Да я их могу сдать схода. Нет, просто человеку нужна Родина! А Эфраим говорил Владимиру Ильичу: «Понимаете, Володя, США для человека — прекрасная родина. И гораздо более легкая, чем Израиль...»

Со стороны послушать диалог этот, так не понять, кто кого уговаривает ехать.

Тарло говорил: «Мы завтра улетаем, а когда пресс-конференция?» Эфраим сказал, что сегодня. — Только, пожалуйста, Володя, не ругайте на пресс-конференции США, ибо эта страна — друг Израиля, а значит, и ваш. А то вы мне здесь в кабинете так поливали США. В сущности — за что?

Тарло сказал на пресс-конференции, что «...США заманивают нас, тянут от родины. В США — бандитизм. США не признают наших дипломов и всячески дискриминируют...» И так далее, и тому подобное. Эфраим, слушавший это, морщился, после поймал корреспондента и попросил, если можно, убрать выкрики Тарло. Корреспондент был с головой. И с сердцем. Ему самому было противно слушать. Он и не собирался это печат-

тать. Но в том-то и весь фокус, что Тарло решил, что назавтра американские евреи прочтут его «пену». Эта «змея в черепе» планировалась беднягой Тарло на всякий случай...

И это в нем было советское: планировать мыльные пузыри. А еврейское в Тарло и в его истории что? Много и еврейского. И хочется кончить эту главу четверостишием, написанным Андрю Седых на пластинке, где мои песни:

«Не разобраться, ей-же-ей,
Без водки и закуски:
То ли российский я еврей,
То ли еврейский русский!

СКОЛЬКО У ВАС ЕВРЕЕВ?

В Московской эстраде были шутники. Разноплановые. Один, армянин Арутюн Акопян, глупец, сказал очень остроумную фразу. Остроумную, если фразу взять отдельно от Арутюна и от того, что он хотел сказать. А хотел он сказать, что все в эстраде плохо одеваются, но сказал: «В эстраде все так плохо одеваются, что не с кем поговорить».

Другой глупец спросил у острошлова: «Как вы думаете, сколько в эстраде евреев?» Тот, недолго думая, ответил: «50 процентов!» — А остальные? — решив довести расследование до конца, спросил глупец. — Остальные? — переспросил острошлов, — остальные еврейки.

Это смешно. Но в этом есть еще и глубокий смысл. Евреи и еврейки — не просто мужчины и женщины. Евреи и еврейки — две разные полярности не по признакам пола, а по всей своей психологии.

Сильный еврей, приезжая в конечный пункт эмиграции, учит язык и ищет работу. Сильная еврейка иногда делает то же самое, а иногда — ищет более трудных путей! Например, немедленно по приезде разводится с мужем, а на вопрос подруги, зачем она это делает, еврейка отвечает: «Лучше уж, чем с ним, — буду на американском дне!» На что ее подруга разумно замечает: «Ой! А ты знаешь, как трудно попасть на американское дно!»

Еврейки всегда великолепные жены для мужчин иной национальности и, увы, очень часто неважные, мягко говоря, — для евреев.

Почему? Не знаю.

У всех наций считается, что муж — голова, а жена — шея.

У евреев жена — и шея, и голова. А муж? А муж только и просто муж. И все. Если он принимает такую роль, он в порядке. Если — нет, он — холостяк.

Еврейки рождаются с даром укротительниц. Они укрощают антисемитов, делая их мужьями. Антисемит, женившись на еврейке, делается не просто ручным. Он делается антиантисемитом.

В эмиграции еврейки — ведущие, евреи — ведомые. Семьям, где — наоборот — все плохо. Все — трудно. Все — из рук валится.

Я завидую мужьям, у которых жены — еврейки, но все же не хочу жену-еврейку. Как не хочу хозяина. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Это сказал Кай Юлий Цезарь, и я с ним согласен.

В эстраде было 50 процентов евреев и 50% евреек. В эмиграции примерно то же. В Израиле, видимо, такое же соотношение, но в каждой отдельно взятой еврейской семье контрольный пакет акций, т.е. 51% находится в руках евреек. Поэтому им так трудно, а евреям — так плохо. И — все-таки — хорошо.

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Несколько слов о себе: обстоятельства в данной ситуации сложились так, что пришлось мне тоже оказаться в компании просившихся обратно. Потом расплатился. Просился я под прессом семейным, но — что было, то было.

Впрочем, теперь, когда появился русский писатель Севела, пожелавший исследовать еврейскую эмиграцию, а точнее — евреев, надо ему помогать. Тем более, нынче уже стало ясно, что его произведения преследуют самую наигуманнейшую цель: исследовать евреев через немцев (смотри его будущий роман «Зуб мудрости»).

Значит, просился я назад под прессом. Но тут есть одна проблема для Фимы. Начал я проситься под прессом, а потом затосковал по России, по Москве, по друзьям. Честно, так и сейчас тоскую. Назад, конечно, не хочу, но тоска не рассеивается. Черт знает отчего, не пойму... Хотя есть у меня идея. Она даже и не моя, а многих. Все, кто тоскуют, говорят: «Трагедия начинается с того момента, как я обнаружил, с кем вместе я выехал в эмиграцию! Если эти поехали, я начинаю думать, что советская власть не такая уж плохая». Это, конечно, квинтэссенция... Ее надо на стеклышко мазком и под микроскоп: так и вижу рыжую

бороду Севелы над микроскопом и квадратный живот под лабораторным столом. И себя на стеклышке. И Фима меня разглядывает, как я ворочаюсь и корчусь в муках ностальгии, а он быстро и безграмотно строчит нечто, замешанное на русской культуре. Языком это нечто назвать нельзя, но многочисленные переводчики и не обращают на это никакого внимания. Они пишут книги Севелы своим языком. А интересуют их Фимины «идеи», старые, как мир. Да и описание евреев у Фимы лубочное. Эдакие трагики зачуханные. Ассимилированные парикмахеры и знаменосцы. Типажи из Кацапетовки, переселившиеся на Инвалидную улицу.

А нынче скоро уже, дней через сто-двести, загуляют Фимины героини по набережной Брайтона. Не зря мыслитель поселился на берегу.

Кстати, «Белый флаг» будет сенсацией. В объемах, где спрос превысит предложение. Писатель Севела заявил, что спрос на его книги по-русски превысил предложение. Это — первый случай в истории капитализма. До сих пор только спрос на деньги превышал предложение. А теперь вот еще и книги Севелы. Так что, возможно, скоро введут на Западе новую разменную валюту, и мы будем делать «шопинг», господа, беря с собой «в лавку» три-четыре севелы или пятнадцать-двадцать долларов.

Может, и в бардаках будут принимать этот вид валюты: девочка до шестнадцати — севела, до двадцати двух — две, а старше — полсевелы...

...Почему я в этой книге пишу о Севеле много. Из дальнейшего все станет ясно. Пока же скажу, что он очень похож на еврея. И, если его мазнуть на стеклышко, станет ясно, почему нас жгли, почему хотят жечь и почему мы, несмотря ни на что, выживаем. С Севелой или без, но выживем, выстоим, выдюжим. И мне это писать радостно, хотя я не еврей, а только числюсь евреем.

Фима на своих трагедиях самооттачивается, а я туплюсь. Во мне живет некий альбинос. Он был и алкоголиком, и наркоманом. Он любил женщин, любил пожрать, любил и умел зарабатывать деньги, но сейчас он сник и может лишь устраивать еврею, живущему с ним по-соседству, погромы. Это утешает альбиноса. Утратив все, кроме воспоминаний, он винит в утратах еврея-соседа, и все еврейство в мировом масштабе. Увы, не только альбинос или еврей, но и любой почти человек — сам себе мир... Увы... А евреи — тройне, но советские — в степени икс..

«Одиноким волк» советского еврейства. Так назвал Севела сам себя, а после продал кличку, как данную ему, — и в этом, бизнес не совсем еврейский, а может, и вообще не еврейский,

хотя и бизнес изучает сам себя...

Нас не понимают «дикари еврейства XX-го века» — хасиды и прочие выходцы из доисторических времен. Нас не понимают и совершенно осовремененные, американские евреи из кругов интеллектуальной элиты, большого бизнеса и прочая...

Нас и нельзя понять, если рассматривать нас как евреев. Выяснилось, что большинство из нас — не евреи, а козлы отпущения для разваливающегося социализма. Польша выгнала евреев, и не прошло и четверти века, как ее социализм затрещал по всем швам. Это же грозит и СССР. И всем непонятно — надо расставаться с евреями или наоборот. Обезьяна держит в лапе раскаленный орех, но не бросает. Жжется, но жалко бросить, ибо неизвестно точно, что внутри, когда скорлупу очистить. Есть же пушкинская сказка: «А орешки непростые, в них скорлупки золотые, ядра чистый изумруд...», а может, внутри и не изумруд, а — дерьмо. И лучше его подальше, от греха?

А тут еще Израиль. И не понять, что это — «Комплекс Израиля», «Кризис Израиля», «Кошмар Израиля» или «Будущее Израиля» — советские евреи.

В США мы на месте. Будем. Скоро. Но не очень.

В США мы на месте потому, что им не до нас, а нам не до них. Мы мечтали, чтобы нам дали волю, а они мечтают, чтобы мы занимались делом. И все было бы к общему удовольствию, когда б не местные евреи и наши из пишущих типа «Одинокого волка» и стаи литераторов из нашей и ненашей волны. Они же не могут писать по-английски! Но им же надо писать. И не ради денег. А ради того, чтобы высказаться, чтобы провозгласить на весь мир свою гениальность. Прибытие стаи гениев сопровождается скандалом. Пока местного значения, непераводимого на иностранные языки, но атмосфера накаляется.

**В ЭМИГРАНТСКОЙ КРУГОВЕРТИ
ГЕНИИ РУГАЮТСЯ:
ВСЕ — БЕССМЕРТНЫ, ТОЛЬКО СМЕРТИ
УЖАС КАК ПУГАЮТСЯ.**

**В США МЫ НЫНЧЕ ДОТЯНУЛИ
ДО СТА ТЫЩ, НЕ МЕНЕЕ,
И МЕЖДУ ВСЕМИ, КРОМЕ МУЛИ,
ВСЕ — СПЛОШНЫЕ ГЕНИИ.**

Мне тоже хочется писать. И чтобы меня читали, хочется. И чтобы взяли интервью, как у «Одинокого волка». В «Новой Газете». Чтобы я говорил, что Аксенов и Войнович — сила, а еще пару приятелей, у коих обедаю, причислил бы к литературе. И

милых женщин похвалить и оценить страшно хочется. И денег хочется, чтобы встать независимо возле Солженицына, а не глядеть в карман к Андрею Седых. И хочется мне тиражей, переводов и не только переводов, как у «Волка», но и чтобы читали, чтоб сидели америкашки в «трейнах» с моими книжками. И женщин хочется. И «Кадиллак» хочется! И хочется сказать: «А мне плевать, мне очень хочется». И еще мне хочется быть над всем этим и сказать в форточку: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

И в этих «хочется» наша ментальность. Человеческая, еврейская. Впрочем, хотят все, просто у нас аппетит больше, хотя — нет. У всех — аппетит, а у нас не аппетит больше, а страсти, крови, жажды и спермы мы в это вкладываем больше. И — труда. Нечеловеческого, порою сизифова даже. Мы лезем в гору успеха, не обращая внимания на сердце, а оно рвется из груди, захлебывается в боли, кровоточит, а мы прем вверх. Мы идем по себе. Мы топчем себя, ибо — спешим. Нам надо возместить потерянное за прежнюю нелепую жизнь, за тысячелетия взять реванш мы спешим, и в то же время надрывно тоскуем о Москве, о России, и тут наш российский акцент резко отличается от акцента польского. Или нет? Просто поляки уже отвыкли от привычки, отпали от Польши, кроме стариков нынешних. Старики, чуя приближение вечности, хотят в свою землю, а своя земля — та, где родился. История — не кладбище. Смерти, даже и еврейской, необходима неподвижность под кустом сирени, под каштаном, под чем-нибудь и — под березой... Покой в родной земле нужен смерти, а не История...

«Одинокие волки» нашей «волны» тоже хотят в родимую землю. Наша одиозная подвижность, неутомимость, одержимость требуют конечного покоя. Но чисто еврейское — самый малый зазор, самая малая пауза, самый короткий, как выстрел, миг отделяет нашу взрывную жизнь от нашей глубокой смерти. Почему глубокой? Да потому, что мы должны умирать вдумчиво, глубоко и навсегда, то есть до того момента, когда надо будет отчитаться. В. Высоцкий, православный полукровка за короткий миг до смерти сказал, что он готов предстать перед Всевышним и отчитаться перед Ним.

Наирусский из русских нашего времени Владимир Высоцкий сгорел, ибо тратил себя вдвойне. Как русский и как еврей. Трагический коктейль — русские с евреями. Самый хмельной и самый безумный напиток. Даже чистокровные евреи, настоянные на России, — уже опасно.

Православие евреев — наиопаснейший момент для коммунистических властителей. Это уже водородная бомба с запалом. А сами крещеные евреи? У них два сердца и две любви. И две

души, но это не двоедушие, а распад личности в лучшем смысле, когда из одной личности прорастает вторая. «Галич тоже при исполнении своих песен хрипел, как мог. А мог и не хрипеть. Ведь вот, когда пел в Израиле об Израиле — не хрипел» — сказал мне Андрей Седых.

Я знаю много крещенных евреев. Они — не евреи, выходит, раз крестились?! Нет, они евреи, но они еще и православные евреи, ибо еврейство — метод жить и умение умирать...

Стаи «одиноких волков» прибыли в США. Но здесь одиночеством никого не удивишь. Здесь культ одиночества в смысле отсутствия месткомов и парткомов. По ним мы тоже скучаем какое-то время.

И напоследок скажу: самое грозное — когда евреи принимают коммунистический постриг. Тут они способны на все. Александр Чаковский, написавший брежневскую трилогию совместно с другими евреями коммунистического замеса, может рассказать об этом подробно...

В «Белой книге» сказано: я принес редактору Нового Русского Слова Андрею Седых антиизраильскую статью, и он меня вышиб как инакомыслящего. Из газеты. Со страниц газеты. Было? Было, но не за статью.

И четыре года я пребывал в США инакомыслящим. Впрочем, я по складу своему душевному и психическому — инакомыслящий. Пребывая в инакомыслящих, лежал я в потрясающих госпиталях, с операцией, стоившей кругом-бегом тысяч сорок, из которых я заплатил США, где и на доллар не наработал, ноль целых и столько же десятых.

ЗАД ПОКАЗАЛ Я ПАЛАЧАМ,
В США СБЕГ ОТ ОДИНОЧЕСТВА,
НО НА СВОБОДЕ ПО НОЧАМ
ОБРАТНО К НИМ МНЕ ХОЧЕТСЯ.

Квартиру достал в доме из мифа о двадцать первом веке. С бассейном, отделом «коммунистического изобилия» в виде рядового супермаркета во дворе. Там же каток, и все это на берегу Ист-Ривер, а соседи мои — сотрудники ООН, слава Богу, — не советские...

И представляю себе: я — вернулся. С чего бы началась для меня Родина? С картинок в букваре? С пресс-конференций на радио и телевидении? А после? И потом: уехал я в этот раз от евреев, американцев, немцев и разных прочих шведов к кому? К русским, к русским я уехал. Верно. А приехал к кому?

Ныне национальный состав России и всей страны по словам газеты «Правда» состоит, в основном, процентов на девяносто девять из одних евреев, армян и немцев, ибо, как пишет

«Правда»: «...распропагандированные сионистами и империалистами отщепенцы из СССР уезжают в Израиль...», и, как общеизвестно, — на Запад. И к тому же: уехать из СССР хотят все. Кроме Политбюро.

И получается: в СССР живут одни евреи, а среди них украинцы, латыши, а русских, к которым я ехал — нет, а в царское время, как рассказывал мне один человек, только в Петербурге по справочной книге значилось пятьсот Иван Ивановичей Ивановых, и просто Ивановых — шесть тысяч и не один не хотел эмигрировать.

Я приехал. Друзья от меня шарахаются. Правые (в душе они левые, но жить-то надо, жить-то хочется) шарахаются и при свидетелях обзывают «предателем». Левые шарахаются потому, что я и впрямь предал их идеалы. Я — между Сциллой уважаемых мною и Харибдой ненавидимых мною. И если меня и вправду не тронет партия и КГБ, чего, естественно, быть не может, ибо коммунисты гораздо мстительнее горцев, то все равно жить я в России не смогу. Ибо для меня никакой России, после того как я эмигрировал, быть не может. Правда, и для тех, кто не эмигрировал, России тоже нет. Их называют внутренними эмигрантами за то, что они существуют, мысля, и от этого страшно мучаются. Вот бы научиться существовать, не мысля!

Я приехал и начинаю лгать по радио и телевидению. В газетах и, что самое страшное, на собраниях. И как лгать?! И про что лгать?! В Америке люди с голода умирают, а я? Гангстеры! Убийцы! Наркоманы! Политиканы! Свобода? Благополучие? Право на труд? Право на отдых?..

Дома, если его дадут в виде комнатухи, встречает тебя сын. Или дочь. Они видели тебя по телевидению. И были с тобой в Америке. Они смотрят на тебя, глазами полными ужаса. И что? А вокруг лифтерши, дворники, домоуправы, участковые, слесари-водопроводчики — сплошь стукачи. Они тебе: «Предатель!» А ты — в рот воды. А ответишь!

— Что, предатель, не понравилось в Израиле и в этой твоей такой-то Америке? Понял, почему фунт лиха? Его пустили, а он выдворяется, сука!

А?! Как жить? Дети! Память! Совесть! Жизнь! Все под откос...

Еще хотели пустить назад сразу большую группу. А что с ней делать? Акция впуска назад себя не окупала бы, пусть они людей. Пустишь, а те через две недели побегут проситься обратно в США или в Израиль. И начнется светопредставление, свистопляска началась бы. И все окончилось бы скандалом и конфузом. Нет, не зря Никита оголил «Академгородок». Не зря. Молодые гении подсчитали, что почему, и вычислили: пускать

назад не надо. И операцию заморозили. До лучших времен. До поры не похолодания, а замерзания, и тогда на повестку дня встанет эта операция.

Могут возразить: ну, пускали же многих. И живут. Довольны. Никто их не трогает. Вон у Кувента одних детей трое, мать, жена, все привыкли не работать. А живут же! Что да, то да, — скажу я.

...А сейчас рвану чуть назад.

ВОЛОДЯ ВЫСОЦКИЙ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО БОГ — ЕСТЬ!

...Володю Высоцкого встретил на аэродроме наш друг доктор Гурин. Рыжий Сева-Севочка. Черт побери, уролог, а не кардиолог. Хотя — уролог это тоже неплохо. Повез он его к себе домой, от него Володя позвонил мне. Сева забрал его к себе, потому что Барышникова тогда в Нью-Йорке не было. Мы встретились...

Здесь — небольшой отрывок из книги, которую готовлю к печати:* «...День жаркий и душный. Мы идем по Третьей авеню. Володя бледен и молчалив. Идет быстро. Я прошу его притормозить. Напоминаю об инфарктах. Он говорит: «Да, да!», на минутку замедляет шаг и снова бежит.

Утром он несколько раз прикладывался. И запирался в ванной, хотя мы с Севой все знали. И всё все знали. Сева не просто знал, он понимал. И я все понимал. И мы боялись за Володю...

Подошли к углу Третьей Авеню и семьдесят второй улицы.

Тут Володя остановился возле дома, который строился и вырос уже наполовину. Володя поглядел на недостроенный дом и сказал: «Здесь хочу жить! Знаешь, я много ездил. Шарик круглый и безуглый. По-моему, без балды, мир — провинция, а Нью-Йорк — столица. Сумасшедший город! Потрясающий город! Жди меня насовсем в Восемьдесят Втором. Только не трепи. А Марина тебя еще с Москвы не любит...» Я спросил: «Может, оттого, что она, хоть и французская, но коммунистка?» — «Нет, — сказал он, — не поэтому, а потому, что — собственница. А потом: птицам плевать на корни. Им нужны плоды или черви. На худой конец — кора. Глубина и нутро не для птиц. А ты тоже пернатый, — вдруг озлился он и пояснил: «Да как ты мог! Как ты мог проситься назад! Знаю, что не ты, не в тебе дело. Это я слышал, но и в тебе. В те-бе! Хочешь ломаться — вали, но не гнись, не гнись, болван. Помнишь, я ей розы в роддом принес? Так я не ей. А Ваське твоему. Ваське!.. Он замолчал. Стало еще жарче. Мы пошли назад. Он сказал: «Хочу и буду жить в

* Владимир Высоцкий и другие

Нью-Йорке. Как? Не знаю, но догадываюсь. Деньги? Деньги у нас найдутся... Ты говоришь, какая из двух моих половин хочет в Нью-Йорк, а какая боится порвать с Россией. Да обе хотят сюда и обе хотят забредать туда. Раз в пять лет. Нет, раз в год. Приехать из Нью-Йорка на пароходе и подгадать рейсом прямо в Одессу. Мой город. Первый фильм, первые песни официально, опять же женщины жгучие, да!..

...Помнишь, как Ленин о поэзии Маяковского говорил: «Не знаю, как насчет поэзии, насчет политики правильно». Так вот я тоже, хоть, слава Богу, не Ленин, не знаю, как у меня насчет поэзии. А песни — в крови, в душе, в мозгу, в мускулах. У меня в костях ломит, когда я долго не пою. В этот раз гитару снова забыл в самолете. Ты подумай: никогда ничего не забываю, кроме гитары, а ее — сто раз забывал. Рок... Знаешь, я в Канаде был. В Монреале. Жил в отеле «Хилтон». И там окончательно убедился, что Бог есть. У меня эти сволочи из всех песен на записях Бога изымают. Да, так был я в Торонто. Нет, в Монреале...»

Вова был совсем пьян. И безумно трезв. И это состояние было трагическим. Современно-гамлетовским. Разрывным. И я его страшно жалел.

«...А перед Канадой я, естественно, был дома на Малой Грузинской. Перед запоем был. И оттого не спал. Вышел как-то раз на улицу. Покурить. Подошел к фонарю. Время пять утра. Прикурил. Гляжу, подходит ко мне паренек. Обаятельный, до чертиков! Подходит и говорит, как к иконе обращается: — Вы — Владимир Высоцкий? Дайте мне, пожалуйста, автограф! Глаза у него васильковые, кожа девчачья на лице расцветает в пандан к рассвету московскому, розовому, а я в эти свои периоды — злой, как собака. Ты же знаешь. Я ему в ответ: — Иди ты..! Он и пошел, два учебника в левой, опущенной руке. А вот сейчас был в Монреале... или в Торонто, ночью не сплю. Я теперь и на всех стадиях не сплю. Там, в отеле «Хилтон», знаешь — длинный балкон. Из всех номеров люксовых двери на него выходят. Была ночь. Часа три, наверно, или четыре. Выбираюсь я на балкон. Закуриваю и вдруг вижу чуть поодаль стоит мой самый распробованный киноактер Чарльз Бронсон. Надо же! Я к нему. По-французски я объясняюсь. Подхожу и начинаю, мол, вы мой любимый артист, а я — тоже артист, а он, не поворачивая головы, даже и не говорит мне, а швыряет в меня: «Гоу!» И я вспомнил того мальчугана. И подумал: «Чтобы плюнуть в ответ так точно! Нет, Бог есть всюду, везде и всегда».

Стало совсем жарко, но мы успели добрести до Первой авеню, и он пошел со мной к врачу в «Бет Израэль госпиталь». Там были эйркондиционеры. Там было светло и прохладно. Он сел на стул и закрыл глаза. Старшая сестра «харт стейшен» по-

дошла и спросила: «Вашему другу плохо?» — «Нет, ему не плохо, — сказал я и подумал: Ему не плохо, ему очень, очень плохо. Ему так плохо еще и оттого, что страна, в которой он живет, думает, что ему хорошо. А от этого ему еще хуже...»

Почему в повести об операции «Возвращение» возник этот отрывок? Потому, что я живу в Нью-Йорке. И многие из вас — тоже. И мы, живя в Нью-Йорке, помним Россию. А Володя Высоцкий — Россия, которая приезжала и пела для нас здесь, это Россия, собиравшаяся приехать к нам сюда жить рядом. А когда он в последний раз уезжал, я думал: Никогда не прощу коммунистам, что мне пришлось уехать, что они лишили меня России. Хотя я теперь живу в Нью-Йорке и радуюсь. Но надеюсь повидать хоть одним глазком Россию. Надеяться надо, ибо История — не География. В Истории любые перемены могут произойти в любой момент. На то, для чего Географии нужны миллионы лет, Истории достаточно суток. И географическая Россия может быть вскрыта и взломана историческим событием, как проржавевший сейф...

ФИМА СЕВЕЛА ВСПЛЫВАЕТ НА ПОВЕРХНОСТЬ

С Александром Александровичем я вас еще познакомлю. Жаль, нет у меня его фотографии. И нашей общей с ним фотографии у меня нет. На ней мы были сняты втроем. Третий — Володя Зенякин (Володя — не фамильярность, а настойчивая просьба его: «Называйте меня, Павел Леонидович, просто Володей. Ладно?). А у А. А. та фотография наша втроем есть. Может, не в семейном альбоме, а в папке КГБ, где хранится моя незамысловатая и горестная история, но я не о ней.

Мне в ресторане на Пятой авеню Александр Александрович говорил: Вот вы пишете в антикоммунистической газете. Конечно, мы понимаем, что сам факт эмиграции из нашей страны — проявление антикоммунизма. Даже когда человеку плевать на политику, а просто хочется денег больше, он — антикоммунист. Уезжая, этот человек способствует наглядной агитации против советской власти. Теперь глядите, что получается: человек попадает в Израиль или на Запад и вдруг обнаруживает, что денег больше, чем было, у него не будет. И свободы больше, чем было, не будет, ибо он ехал за свободой заработать, а без языка и пригодной профессии заработать здесь труднее, чем в СССР. И вообще: больше или меньше денег и свободы — чушь. Что касается денег, то их должно быть или много, или очень много. А больше, меньше — хреновина. В СССР человек получал сто тридцать. Сколько надо получать в США, чтобы было больше.

Ну, скажем, восемь тысяч в год. Это больше или меньше? То-то. Но меня занесло не туда. Я про антикоммунизм. Вот вы антикоммунист? А Ефим Севела антикоммунист? Впрочем, вы, возможно, и антикоммунист, потому что пишете подвалы против советской власти за десятку. А скорей всего вы просто по характеру своему нуждаетесь остро в том, чтобы с вами и вокруг вас обязательно что-нибудь происходило. Неважно что, но чтобы происходило. Я-то считаю, что вы — комок нервов и эмоций. И это плохо кончится. Здоровье не выдержит ни вашего антикоммунизма, ни вашего раскаяния. Ваше здоровье просто не выдержит вас. Задолго до положенного срока...

Он задумался, потом пробормотал: «Положенный срок, положенный срок...», а я подумал, что: либо он болен серьезно и знает об этом, либо... он сам антикоммунист. Да, да, сейчас в мире такая путаница. Арман Хаммер — коммунист или антикоммунист? Впрочем, это неправомерно — крайности. Как будто нет золотой серединки. Как будто не написал я Эмилю Горовцу, когда он уезжал в Израиль, слова к песням. В одной было:

Грусть с весельем бродят рядом,
Горе с радостью в обнимку,[™]
И не надо, и не надо
Проливать горячих слез.
Пусть нам будет как награда
Золотая серединка,
И не надо, и не надо
Принимать себя всерьез...

А во второй, помнится, были такие слова:

...Не ты ли, Израиль,
И вечный дух на взлете,
И кровь, и пот, и пыль,
Не вы ль меня зовете!

Миля пел вторую песню в Израиле, после уехал в США и пел ту же песню в США. Путаница и не в умах даже, а в сердцах, в душах...

...Тогда Володя Зенькин сказал: «Александр Александрович прав. Вы носитесь по жизни, гоняясь за собой, а не убегая от кого-то. Проще: вы пытаетесь убежать от себя. Вам бы в религию, Павел Леонидович. Все равно в какую, но вы, думается, ближе к православию. Может в религии вы и укроетесь. А что? Вполне может быть...»

...Тогда Володя сказал мне: «Пустить вас не фокус!»
Конечно, не фокус.

НЕМНОГО О ДЕЛАХ ИЗРАИЛЬСКИХ

Берта и Владимир Тарло с дочкой прибыли в Кирыят Ям — «Городок у моря» в переводе. А через три дня написали первое письмо в посольство США в Израиле. Письмо гласило, что: «...Эфраим, работающий на Парк авеню в Нью-Йорке, — агент разведки Израиля. Что он выманил, заманил и сманил несчастных, запуганных, загнанных Тарло в Израиль. Что они, Тарло, хотят обратно!» Это — общий смысл десятков писем, написанных семьей Владимира Ильича в посольство США. Надо сказать, что тезка Тарло, Ульянов, был человеком более принципиальным. И стойким...

Не получая несколько дней из посольства США ответа на просьбу впустить их обратно в США, Тарло начал писать в СССР.

Здесь можно лишь догадываться, но с большой долей вероятности надо заметить, что, хотя письма им писались в Верховный Совет СССР, сиречь, товарищу Брежневу, Председателю, попадали они к людям товарища Андропова, а люди товарища Андропова отличаются почти от всех жителей СССР одним основным качеством: четкой, порою поспешной, целеустремленной оперативностью, схожей с оперативностью крупных бизнесменов, занимающихся торговлей скоропортящимися товарами типа телятины, не влезающей в холодильники.

Итак, получая от министерства абсорбции Израиля заработную плату врача, Тарло, вместо того чтобы учить язык, пишет письма.

В то время как его тезка, находясь в эмиграции, писал письма, прося денег для свержения государственной власти в России, а заодно и для небольшого личного комфорта, Тарло пишет в Россию письма, взывая к законному правительству, чтобы оно, впустив его, укрепило свой престиж.

Чем в 1980-м году занимался третий Владимир Ильич (Пожаров), я не знаю, но думаю, что он продолжал то ли в США, то ли не в США служить делу второго Владимира Ильича, ибо в данной истории на первом месте стоит поставленный мною на это место Владимир Ильич Первый — Тарло. А он, как я уже сказал, тонул в делах эпистолярных, благо все финансовые заботы сняло с него израильское правительство, которое, скажем прямо, в вопросах нашей эмиграции частенько бывает не без греха, но тут же надо и оправдать правительство маленького героического государства: «За всем не углядишь, на всех не угодишь!» Похожа эта фраза на мудрость русско-народную, но это — не мудрость, а я прямо сейчас схожу фразу придумал, потому что в Израиле нужен глаз да глаз, чтобы за всем углядеть.

Например: обидел Израиль Фиму Севелу. Нужный и полезный член еврейского государства Фима. Был. Служил в армии. Я на обложке одной из его книг сам видел автора с сынишкой на руках в форме солдата. Ездил Фима по миру и агитировал евреев давать деньги на Израиль. Мне рассказывали, что делал он это лихо. И вдруг — не просто обиделся Фима, а уехал, отряхнув прах израильский с ног своих. И вдогонку самому себе написал об Израиле книгу, где описал израильские ошибки. (Я книгу не читал, он мне примерно сам рассказал ее содержание). Осуждаю ли я Фиму, прочтете дальше. Но практицизм сиюминутный необходим крошечному Израилю, как воздух. Он окружен смертельными врагами. И все же: если государство зовет людей на «родину предков», оно должно помнить, что есть «две большие разницы» между понятиями «родина» и «родина предков»... Помните у Островского в «Без вины виноватые» есть у Шмаги слова — цитирую по памяти, — обращенные к хозяевам дома, правда, брошенные не в лицо им, а в воздух, что, мол, могли бы и не приглашать, но уж коли пригласили, утверждал Шмага, то — где буфет, где выпивка, закуска! и так далее, как говорится.

Но, увы, необъятное объять — не входит в задачу этой повести, но я хочу еще вернуться к делам израильским, ибо без них не совсем четко будет выглядеть вся моя история, а, с другой стороны, совсем четко эта история и не может выглядеть, ибо она продолжается. А я ловлю за хвост лишь эпизод. Значит, как договорились: я вернусь к Израилю, но чуть позже. До свиданья, Израиль!

Я С КГБ НА ПЯТОЙ АВЕНЮ

Контакты с коммунистами за пределами их власти — вещь приятно-противная. Вступая с человеком в контакт там, где они могут быть самими собой лишь в крайних обстоятельствах, коммунисты почти ласковы. И чем важнее для них контакт, тем они ласковей...

Брайтон уже ведьминым котлом бурлил, кипел, булькал и переливался через край, когда однажды в шесть утра зазвонил телефон. Я подошел.

— Алло! Павел Леонидович? Вы меня не знаете. Меня зовут Володя. Вы меня так и зовите — Володя. Вам обо мне дома не говорили? Нет? Жаль, ну, я еще позвоню — и гудки.

Дома мне сказали. И так завязался узел, но я обещал не обяснять, не оправдываться. — И не буду.

Выбора не было. Бывает так, что нет выбора? Увы, часто так бывает. И в тот раз так выпало: нет выбора.

Снова позвонил Володя. Снова рано утром. Теперь я уже знал, что он — Володя Зенькин из советской миссии при ООН. Тогда я еще не знал, что он — шпион. Конечно, предполагал, но не знал. Да и не один я не знал.

— Павел Леонидович? Это Володя. Я бы хотел, мы бы хотели с Вами сегодня повидаться. Может вы подскочите на Пятую авеню? Да, Пятая авеню и угол... Когда? В двенадцать, вам как? О. К. Нас двенадцать очень устраивает. Обеденный перерыв. Что? Как вы нас узнаете? А вам не надо нас узнавать. Мы вас сами узнаем, Павел Леонидович. Так до двенадцати, а мы двое будем. О. К.?

Да, я жег, палил, рушил за собой мосты. По крайней мере, так я думал.

В Манхаттан я поехал загодя. И пошел в Новое Русское Слово. Хотел рассказать обо всем Седых. Однако его на мою беду на месте не было. Подождал я, а время летело к двенадцати.

Вышел на Пятую Авеню и угол... Жду. Двенадцать. Оглядываюсь, нервничаю, дергаюсь. Время бежит.

И тут вижу: направляются ко мне через дорогу двое. И я, сроду не видев, узнал их сходу: эдакие неотвязные, страшные спутники-тени всей моей, да и вашей жизни, эдакая булгаковская парочка неразлучная, эдакие Коровьев и Бегемот! Впрочем, Володя Зенькин оказался внешне ни тем, ни другим, а милым молодым человеком. Подошли они прямо ко мне и тянут руки: «Павел Леонидович! Видите, мы вас узнали!» — заговорил «Коровьев», а я сразу и вдруг обнаружил в нем внучатого племянника самого Воланда. — «Узнали — подумал я, — еще бы, небось набор фотографий в папочке на каждого».

Просидел я с ними в ресторане часа 3-4 и за все время в рот и крошки не взял. Только курил и то — свои...

В «Белой книге» — все, кого они впустили, а из наших, живущих здесь, — портреты — мои и Фимы Севелы. И про обоих нас — что плохо об Израиле писали, а я знаю: Фима писал об Израиле плохо. А обо мне: Седых-де, получил от меня антиизраильскую статью и вытурил меня из русскоязычной печати в шею. А этого не было. Было другое: узнав про мои два похода, кстати, я их подтвердил, Седых сказал, чтобы я в газете объяснил мотивы. Я отказался, а он сказал: «Может вы и правы. Сразу — нельзя».

А спустя время и без объяснений начал снова печатать. Диссидента. Вот бы тем моралистам своих диссидентов начать печатать, а?! Кишка тонка! Они диссидентов — либо в лагерь и в тюрьмы, либо за рубеж. А Седых снова диссидента пригрел. И даже не указывает на то, что надо заниматься не лирикой, чем в основном в газете занимаюсь, а чем-нибудь посерьезней... Да, ни-

какой антиизраильской статьи моей Седых и в глаза не видел... Хотя был во мне антиизраильский период...*

Повели меня в японский ресторан. Шикарный. А у меня ощущение — они оба здесь свои люди. Сперва подошли к бару, заказали спиртного с вишенками. Мне предложили. Я отказался. Опрокинули они по рюмке и в зал, а там им и стол указуют. Оглядел я зал. Лишь в одном углу сидит компания не то японцев, не то китайцев, я их всегда путаю. Ну, думаю, может, и не ловушка.

Они за меню и мне предлагают, а я отказываюсь, ссылаясь на сытость и язву. Уговаривать меня не стали. Наказывали себе — полный стол, принялись за еду и не спешат начинать разговор на тему. А я не выдержал и говорю: «Что, мол, дальше?» Тогда Зенякин заюлил, заворковал, защебетал: «Разве здесь жарко? Разве здесь неуютно? Разве здесь что не так? А я ему: «Здесь все так, но есть я не хочу, а зачем вы меня попросили прийти?» Заговорил Александр Александрович: «Вы, Павел Леонидович, человек такой... трудный человек. Вот ведь вам обязательно надо, чтоб хоть что-то происходило. Суетиться вы любите в ущерб здоровью, а здоровье — штука серьезная. Сейчас отказываетесь есть, потому что с нами, а еда-то вкусная, и есть вы хотите. Я ж вижу. Глупо делаете, что не едите. Принципы ваши трехкопеечные, вы уж меня простите. С нами в ресторане сидеть — нарушение принципов, а уж коль все равно сидите, ешьте... Ну, на нет и суда нет, а мы голодны и есть будем. А вам я вопрос задам: как же это получается? Хотите назад, а сами, не переставая, пишете всякие гадости о советской власти. И не только эмигрантам, а и переводить ваши статейки и рассказы начали. Ну, евреи — пусть, а ведь и в американском журнале «Нэшнл Рэвью», у врага нашего Бакли! А?! Куда же это годится, и как это понять?!»

А что я ему скажу?

И я ему сказал.

Сказал, что понимаю, пустят меня и посадят меня, а не посадят, так изничтожат. Хотя бы за «Ленина на броневике».

А он мне: «Ну, что вы, право? Ну, зачем нам вас пускать, чтобы сажать?» — голос доверительно-бархатный, тембр густой и ласковый у голоса, а лицо — никакое, сколько в него ни гляди.

Я ему: «Вы же все равно мне не поверите, что мои взгляды могут измениться. А я и врать не стану: мои взгляды те же, что в «Ленине на броневике». И что делать?» (Как только мы с А. А. заговорили, Зенякин примолк и принялся за еду).

* Пройдет год, и Седых докажет, что он — плоть от плоти их, что сроду не уезжал он из-под Феодосии...

Он мне: «Дело и не во взглядах ваших. Век нынче такой, что всяк имеет взгляды, и всяк кто поумней, норовит держать их при себе. У меня тоже взгляды...»

Они ели с аппетитом. Губы у Зенькина поблескивали, по подбородку стекал жир, и он, забывая о салфетках, вытирал рот тыльной стороной ладони. А. А. ел, смакуя и согласно правилам хорошего тона. И когда Зенькин рукой вытирал жир, по лицу А. А. пробегала легкая, едва уловимая гримаса. И в компьютерно-зорких глазах мелькало явное презрение и брезгливость. Мне они казались сословными. А на худой конец презрением интеллигента к проломному жлобству. А. А. пил глотками, небольшими, отмеренными, без тостов, не обращая внимания на соседа, который опрокидывал рюмку в рот, запрокидывая голову.

Так они и живут, — подумал я, — одни, презирая других, другие, боясь, пребывая в постоянном напряжении...

— А почему, А. А., вы сказали, что без меня не пустите мою семью? — спросил я.

— А потому, что вы — единственная личность в вашей семье. Да и что будет ваша семья делать в СССР без вас? И вы, что вы станете делать здесь без семьи? Писать? Побойтесь, Да и кто вас станет печатать? Тут ведь тоже идеологическая борьба. Ваш Андрей Седых столь же нетерпим, сколь и мы. Да ему иначе и нельзя. Вот нас упрекают в нетерпимости, а русские антикоммунисты? Они так же нетерпимы. Мы и они являем собой пятак: они — решка, мы — орел. Борьба идей — артиллерийская дуэль, — он выпил, закурил.

— А. А., а, по-моему, вы и не собираетесь нас пускать? По-моему, вы просто хотите заткнуть мне рот, раз уж вышла оказия.

— Заткнуть рот? — переспросил он задумчиво. Что ж, и это тоже. При несерьезных долларовых расходах это — тоже благое дело. Вы пока весите в стране западного печатного слова мало. А вдруг обростете весом? Сейчас вам заткнуть рот ничего не стоит. Ну, цена этого обеда и сколько-то времени на вас и на вашу семью. — И все... Насколько я понимаю, вы ехать назад не хотите?

— Нет, — сказал я, пожалев мгновенно, ибо знал, что они передадут это, и дома начнется все сначала. Нет, — повторил я, — но желание здесь ни при чем. Я должен ехать. И готов сесть...

— Да, что вы заладили «сесть да сесть». Ну кому вы нужны в тюрьме? С вас там, как с козла молока, не более того. Уж коли пускать вас, так не сажать. Но это дело будущего. Вас еще не пустили, и решать этот вопрос будут наверху.

И тут вдруг влез в разговор Зенькин:

— Павел Леонидович, уж кому-кому, а вам непростительно так думать и говорить. Кто это теперь и кого сажает?

Я ему назвал пяток имен, а он мне: «Так это ж активисты. Помните: всякое действие вызывает противодействие, а вы из породы разговорников. Да и напуганы вы будете, верно ведь? Хотя бояться вам нечего и некого».

— А домоуправов, участковых, начальников отделов кадров, жлобов, лифтерш, кассирш, продавщиц и так далее?

— Я б вам возразил, что мы можем вас поселить в городе, где никто и не знает вас, да боюсь неправильно истолкуете мое предложение, подумаете, что хотим, коли пустим назад, загнать вас в тьму-таракань, а мы не хотим. Мы, по секрету, строим для москвичей-возвращенцев дом на Профсоюзной улице. Тысяч шесть долларов — и все...

— Хватит, — оборвал наше лирическое отступление А. А., — хватит, и ближе к делу: значит, вы должны поехать в Вашингтон. Поедете в постпредство, назоветесь, там вам скажут, что к чему. Анкеты у вас есть? Нет? Ну, это чепуха, анкеты. Теперь вот еще что: я не гарантирую вам, что вас пустят. Не хочу быть трепачом. Вас могут пустить и не пустить, в равных шансах. Мы свое мнение скажем. Мнение положительное в том смысле, что вас надо пускать. Счеты сводить с вами мы, конечно, будем, но не таким, как вы полагаете, способом. И еще одно: язык у вас! Много говорите, а там придется вам много говорить только в тех случаях, когда вас попросят об этом. Это тоже взвесьте...

Они доедали быстро и молча. Зеньякин попросил счет. На мое ухо английский был у него ничего, а у А. А. — плохой. Заплатили они что-то около ста долларов. «В моей папочке этот счетик будет лежать» — подумал я. — Это мне к общему счету приплюсуют». А А. А., словно подслушав мои мысли, сказал: «В капиталистическом раю любая акция стоит кучу денег. Однако, здесь так принято: деловые разговоры — в ресторане, а счет — боссам, верно, Володя?»

«Да, А. А., конечно» — мгновенно откликнулся Зеньякин, а глядя на него, я как раз подумал, что он заштатный рядовой сотрудник, бумажная душа, мелкий карьерист и трусишка, а оказался после — шпион. Я думал, и вдруг, под занавес, из левого угла, где, помните, сидела компания, раздалось несколько вспышек-выстрелов. Я мгновенно оглянулся и увидел невысокого японца-китайца, щелкавшего нас в упор. И глянул на А. А. и Володю, но они и глазом не повели. Я все понял и говорю А. А.: «Приложение к счету ресторанному?»

А он мне: «Ну, что вы, право, нам и так верят. До такой то степени на сотню долларов нам верят, верно, Володя?»

«Конечно, А. А., верят» — подхватил Володя, и в нем я

снова увидел «Бегемота», поддакивающего родственнику Воланда.

Левый угол мгновенно опустел. Как смыло ту компашку. А мы еще чего-то ждали. А может, просто А. А. прислушивался к началу пищеварения, но я, голодный, на нерве, не выдержал и предложил уходить. Я пить хотел жутко.

— Да, сейчас пойдем, но у меня к вам, в сущности, один приватный вопрос, — сказал А. А., — почему вы, Павел Леонидович, уехали? Вы там в анкете написали, что больны и потому едете в Израиль к дяде, который обещал кормить вас до конца вашей жизни. Помните? И помните, как вам Израилова сказала: «С такой зарплатой лучше бы вы дядю сюда вызвали». Помните? Так отчего вы уехали?! От глупости? От ненависти? От неумения просчитывать ходы вперед? —

Он мне соли на рану насыпал. Уехал-то я от ненависти. Устал смертельно постоянно их ненавидеть. А ведь это — не от ума. От эмоций это. Я ж мог никого не видеть. И мог не ходить на собрания. Не смотреть кино и телевидение. Не читать газет. Мог, а ненавидел. От этого уехал. И я ему сказал: «От глупости, А. А., от чистой глупости», а он: «Нет, от ненависти и оттого, что глядели вы прежде не дальше, чем на один ход вперед, а надо бы на всю жизнь. Партия-то у каждого из нас единственная, а вы — на один ход» — он покачал головой и, наверно, подумал о себе.

Мы вышли и на углу Пятой авеню распрощались.

СТЫДЯСЯ ГЛАЗ, ЛИЦОМ К СТЕНЕ,
И НАМ УЖЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ,
ЧТО МЫ ЖИВЕМ СПИНОЙ К СПИНЕ,
КАСАЯСЬ ЗАДОМ ЗАДНИЦЫ.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В ОБЪЯТЬЯХ КГБ

Бывают в семье два старших брата? Ну, не просто, чтоб по порядку, один за другим, а вот оба, хоть и не близнецы, а старшие? Оказывается, бывают и не два, а десятки. И такие старшие, что один Бог знает какие. Но я о двух старших братьях-странах: родине Христа — Израиле и о родине олимпийцев, верующих в Христа, — православной Греции.

Значит, из Израиля, точнее, с аэропорта Лодь, взлетел авиалайнер, развернулся, блеснув правым крылом над синей дымкой под легким утренним солнцем, и направился в Грецию. Расстояние между двумя братьями — раз плюнуть или, как говорят сибиряки, два пролета по двести (км. или миль), допустим.

В самолете были пассажиры, а среди них семья Тарло и два работника КГБ. Они, конечно, нигде не представлялись как работники КГБ, но они в самолете были. А я верю, ибо, по-моему, во всех самолетах, летающих над матушкой-землей, есть работники КГБ. Может быть, кроме одного самолета, принадлежащего американским ВВС, самолета № 1, личного самолета президента США.

В афинском аэропорту семью Тарло встречали. Трое (итого, в операции «Ленин-Эфраим-Тарло» занято уже пять человек!). Взяли семью под белые руки, усадили в длинную черную машину с погашенными фарами, так как было светло, то есть день был в Афинах, и повезли «Святое семейство» в шикарный отель. (Почему-то попросили меня не называть отеля? Почему? — Можно только догадываться).

В отеле семью Владимира Ильича Тарло ввели в номер, о каком Владимир Ильич Ленин не мог даже и мечтать в годы своей эмиграции. Даже после очередных переводов от мировых морозовых-мамонтовых.

В номере стояли телекамеры и толпились люди. Всего в деле было занято, не считая сценаристов в Москве, семнадцать человек. Из семнадцати отнять пять — эти пятеро остались за кормой отеля — получится двенадцать. Были в номере «Люкс» двенадцать человек и две телекамеры. Текст был написан. Кто-то говорил, что на последней странице текста была печать «Главлита», а на первой странице над словами «Текст семьи Тарло» стояло «Утверждаю. Генерал-лейтенант» и росчерк неразборчивый.

Застрекотали камеры, и началась исповедь. По тексту. Но евреи темпераментные и инициативные люди. Тарло несколько раз пытался отредактировать сценаристов и Главлит, не понимая, почему нет в сценарии ни одного слова об их мучениях в этих проклятых Штатах. И он все время влезал: «Америка — это кошмар. Там...» — Его резко обрывали: «Тарло! Об Америке заткнитесь!» — Он снова по тексту шпарит. Потом к микрофону жена его подходит, Берта, после дочка. После ему дают микрофон, а он, темпераментный и инициативный: «Америка нас предала и продала Из..!» А ему: «Тарло! Читайте по тексту!» И не выебывайтесь!» — Автор извиняется за слово «Тарло». Через час горячей работы — съемки Тарло, наконец-то, уразумел, что, несмотря на агрессивную политику США, КГБ еще на что-то надеется и не хочет упоминать Америку. А может, потому не хочет, думаю я, что знает: в СССР не верят ни одному плохому слову об Америке. В СССР вообще не верят ни одному слову родной партии и родного телевидения вместе с родными прессой и правительством, но дело в том, что есть одна вещь, в которую

даже этим родным и любимым иногда верят, а именно: что во всем виноваты жидаы. И знаете, я понимаю тех, кто в это верит. Я им даже сочувствую. Я им сам порой готов кринуть что-нибудь антисемитское. Уж больно активны евреи... были в семнадцатом году.* Мне мой бывший друг, из тех, кто был мне другом, но уже не есть, а именно, Леня Дербенев, поэт-песенник, умный, и остроумный человек, хотя и большая сволочь (знаю, дурак, что, называя его сволочью, оказываю ему услугу громадную, ибо гэбэшники любую сволочь из моих уст сразу поставят в ряд самых порядочных людей Закремлевья), написал:

«Опять в Израиль утром синим
Иду евреев провожать:
Бегут евреи из России,
А русским некуда бежать!»

Я, когда приехал в США, подумал: вездесущее ГэБэ может узнать, что Леня, друг мой любимый, сочинил крамолу эту, и лучше возьму я «грех на душу». В интервью радио «Свобода» заявил, что это я написал. А теперь, когда знаю о Лене то, чего не знал прежде, открываю имя автора истинного в полной уверенности, что ему это четверостишие утвердили там же, где утверждали речь Тарло. Или — в соседнем кабинете.

Но мы оторвались от Тарло и его семьи. И от семнадцати гавриков, шустрящих в апартаментах отеля «Н»... В раздрганности моего повествования есть неудобство. Я иногда начинаю и не договариваю. Дербенев мне на прощанье сказал, шутя (?!): «Вот, что вы, жидаы, понаделали. Революцию нам устроили. Теперь сматываетесь. А нам — расхлебывать?!»

Есть такая точка зрения на Руси. И даже, увы, в эмиграции есть. Оно, конечно, бред, но ведь бред, как рожь, — не растет на голом камне.

Да, так Тарло все начал шпарить по тексту. Понял: Америка — табу. Про себя ехидничал: зато в США читают мое мнение об этой Америке.

Накось, господин Тарло, выкуси! — хочется сказать, но поглядеть на него: стоит бледный, бусинки пота на молодом, еще не испещренном возрастом, лбу, глаза бегают. И даже уже ус-

* Прежде русское правительство стеснялось своего участия в антисемитских акциях. Однако не покрикивало за антисемитизм на Гоголя, Достоевского и Чехова (называю троих, но их — добрая половина великой русской литературы).

Другая половина была за евреев. Эта борьба антисемитов с неантисемитами, видимо, так высоко подняла акции русской интеллигенции. А нынче одного неантисемита я признаю — А. Синявского, ибо он это делает талантливо.

тали бегать глаза, а возле — бледная, потная, полусумасшедшая жена и забившаяся в угол дочка-малышка. Десять годков, но и ее ГэБэ в мясорубку, в душегубку!

Закончилась съемка. Наснимали пленки часа на три. После в СССР показали часовую передачу. Отбор тщательный. Редактура. В ГэБэ и на Ти Ви сидят умельцы. Во главе Комитета радио и телевидения ГэБэ своего человека посадил: товарища Лапина, Сергея Георгиевича, генерал-лейтенанта. Сейчас он, может, генерал армии, кто его ведает. Эти умельцы знают, как вспахали, а потому знают, как сеять. Так, по крайней мере, они думают. Пусть думают.

Я С КГБ В ВАШИНГТОНЕ

Мне позвонил Зенькин. Снова рано утром. Сказал: «Ехать надо, Павел Леонидович, в Вашингтон. Завтра вас там ждут»...

«Армтрак» отходил в шесть утра. Какого это было числа? Не помню. Могу, конечно, установить точную дату в Кони Айленд госпитале, но к чему? Помню, что август был.

«Армтрак» — роскошный поезд, комфортабельный. Сел у окна. Летят мимо поля, леса, масса озер, и все это — аккуратное, выглаженное. До того аккуратное, что и природой не назовешь. Причесанное все и прилизанное. А самое главное и страшное: а вдруг это — больше не мое, в смысле: не увижу этого никогда! Кто-то будет здесь жить, а я?!

Прибыли в Вашингтон Д. С. Вокзал ремонтировали. Весь в лесах строительных он стоял. Вышел на площадь. Английского — ноль, но адрес мне дома записали, крупно, как близорукому. Подъехало такси. Шофер черный, лицо веселое лоснится, на лице — ни забот, ни дум, ни печалей. Сунул ему бумажку, он быстро-быстро заговорил, что-то о «рашен». Думаю, что-то не слишком лестное, а может, наоборот, черт его знает. Тронулись мы, а я и на город смотреть не хочу.

Я и в магазины дорогие по сей день ни разу не заходил. Так живу: раз не могу купить, зачем смотреть? Я, когда и мог купить, не ходил. Так и с городом. Чего смотреть, коль не мой он больше, не моя это столица, а — других, счастливых людей. Меня-то, вопреки логике, могут и пустить назад! А я не поеду, а?!

И все-таки искоса гляжу на город: вон виднеется Капитолий — и тут мы нырнули в зелень. Подъехали к вшивому, бедному домишке. Оказалось — советское постпредство. Ну, нищие, право слово, нищие или до жути скромные люди приобрели эту почти развалюху. Да и впрямь, ну, откуда им деньги взять?

Валюту на трудящихся всего мира тратят. И на своих. Хлеб покупают, мясо, танки раздаривают, ракеты рассылают, террористов дрессируют по всему соцлагерю. (Про террористов Запад сейчас только заговорил, а ведь и Запад, и каждая собака на Востоке знали, что террористы — дело рук Лубянки и Старой площади).

Захожу я в постпредство. Русские девочки видны через дверь. Сердце дрогнуло. Оно — глупое, сердце. И — беспамятливое, а то б не дрогнуло. Девочки милые, русские, но ведь кагэбэшницы!

Выходит одна, простушка, мой план! Говорит по-английски. Акцент — жуть. Я акцент слышу хорошо, оттого, может, и не говорю до сих пор. Я ей по-русски, читаю бумажку: «Мне бы Владимира Ильича Пожарова, если можно».

— А вам назначено? — спрашивает.

— Да, назначено. Фамилия моя Леонидов.

Вышел Пожаров. Не безликий, шатен. Глаз зоркий. Ни одной ошибки в движениях. Подал руку. Плохой знак, могут пустить.

— Вам, Павел Леонидович, не сюда. Вам в посольство. Сядете на такой-то автобус и доедете туда-то. Дом номер такой-то. (Мог бы и сейчас узнать точный адрес, но нарочно не хочу уточнять, узнавать. Не хочу, а только то, что память держит цепко).

Добрался до посольства уже в непомерную жару. От тротуара в провал прошел между зеленью вдоль ограды. Дверь заперта. Звоню. Открывается. Вхожу. Вижу телевизионное устройство. (Они-то, они-то кого боятся?! Террористы к ним за версту не подойдут. Террористы о них думают: «Не бойтесь, мы сами боимся!»)

Прохожу далее, вижу человека за бронебойным стеклом. И голос откуда-то сбоку или сверху: «Леонидов? Подождите!» Огляделся, смотрю — стулья у стены. Сел. Жду. Выходит крупный, лет пятидесяти восьми, лысый, громоздкий человек. Сует руку: «Голышников». Приглашает за собой. Идем пешком на второй этаж, а он мне по дороге: «Была тут у нас не так давно Людмила Георгиевна. Нам с Добрыниным очень хорошо говорила о вас».

Я сперва и не понял, кто такая Людмила Георгиевна, а после сообразил: Зыкина!

Входим в комнату. Метров сорок квадратных. Два окна. В обоих по эйркондиционеру, и оба гудят, как самолеты перед взлетом. Аж воют.

В центре комнаты стол, за столом трое молодых людей. Три Володи, а среди них приехавший уже видимо, на машине — Пожаров. На столе банок двадцать «Коки» и сигареты. Мой сорт

— «Мальборо». Голышников садится, приглашает меня. Я сажусь и оказываюсь возле высокого, обаятельного блондина, напротив остальных. Голышников говорит: «Начнем!» И мы начинаем!

Вчетвером они наметили игру в мяч. И это у них поначалу получалось. Я был плохо надутым, вялым и инертным мячом. Молодые ребята толкали меня с юмором, Голышников, забыв мгновенно о том, как хорошо говорила обо мне Зыкина, был груб и резок. Какие были у них задачи? Не пойму. Не знаю. И по сейчас. Если скомпрометировать меня, так я уже в ресторане и в постпредстве был скомпрометирован. Думаю, что была у кого-то мысль пустить меня. А может, любопытство? Уж больно пикантная ситуация: по сей день пишу антисоветчину, а сижу в теплом гнездышке коммунизма. Политикам это неудивительно, но я-то — не политик. Мне стыдно и по сейчас, только не примите это за извинение. Что сделано, то сделано. На то и живу в свободном мире. Другим подлостей не делал, а что покушался на самоубийство — так мое это дело. А уж тем более — мое право.

— Как же вы могли, Павел Леонидович, такое писать?! — говорит Голышников, а молодежь по памяти почти точно, а может, и точно — цитирует. Вот это. И это. А вот это, так просто ужас. Вы что ж, видели баню, где высший комсостав моется и от водочки очищается? — спрашивают. А я им: «Да, видел!» И адрес — нате, ешьте на здоровье! Я уже начал приходить в себя, а для меня — приходить в себя означает — выходить из себя.

Тут мне Голышников лекцию про евреев: «Я уж про немцев не стану, хотя от немцев их спасли. (Я ему вразрез: «Евреи и сами кое-что делали и сами себя спасали, спасая тем самым и вас!») — Жили и живут евреи в СССР лучше, чем русские. Впрочем, вы-то Леонидов, а вот Рабиновичи всякие жили в среднем, лучше Ивановых, а только шелку приоткрыли — они туда. А? А теперь из-за евреев нам мимо носа благоприятствие в торговле, а ведь...», но тут я его оборвал, окончательно придя, верней, выйдя из себя: «Да, евреи жили в СССР полвека и боялись не только заикнуться, но и подумать об эмиграции. Хотя по ночам, под подушкой в подкорке таили надежды смыться. Это не евреи, а вы устроили бег. У вас сырье кончилось. У вас товара нет. У вас валюты не хватает. Это вы евреев в ход пустили. А теперь, они вас благоприятствия в торговле лишили? А вы выпустите всех евреев, жидов этих, которые лучше Ивановых живут! И вам благоприятствие гарантировано. И делайте это скорей, а то наступят времена, что и за евреев, да и ни за кого и ни за что ничего вам не дадут». — Я разошелся, а они не прерывали меня и глядели на меня с любопытством. С интересом, а молодые —

даже с симпатией. Только Голышников глядел кабаном разъяренным. Глядел, но молчал. Давали они мне выговориться, а я сам вдруг схватился: «Это что ж такое?! Я ж приехал назад проситься, а сам?! Ведь узнает семья, как я просился — несчастья не миновать!»

Открыл я банку «Коки», начал пить. Пью и слышу свои крупные глотки через вой аэрокондиционеров. «Чего они так воют» — подумал я, а после пришло: «Дак это ж глушители, глушат нашу беседу, а в ней ведь глушить нечего. Пока нечего...»

Тут они мне, а точнее, Голышников, говорит, что мол, ошибки есть на свете такие — простить душа не лежит. А эмиграция советского человека как раз такая ошибка. Что я-то вообще архипредатель. (Меня аж покорило это ленинское «архи»!) Пишу — ужас что! А после — обратно. Хамство! — он нагревался или нарочно горячился: «Нет, меня простить и пустить нельзя, а если и пустят наверху, так только от безграничного мягкосердечия» — так и ляпнул про верхних «безграничное мягкосердечие»!!!)

Он начал кричать (в микрофоны!!!), что предателям нет прощения, и тут что-то во мне сломилось. Даже почудилось, что слышу я внутри себя не то хруст какой-то, не то — хряст: опрокинулась слепленная наживо плотина, и прорвало: «А вы, господин Голышников, членов политбюро, что опять урожай прозевали, проморгали, прохлопали (так и строил три глагола) — простите? Или прогоните?» — Пауза напомнила зевок динозавра. — И рухнуло: Голышников и тройка благожелательных, благодушных, благовоспитанных, хорошо одетых и улыбающихся невозмутимо, по-западному, молодых людей — разразились — кто кого перекричит (в звукозапись!!!). Они орут на меня, а я вдруг успокоился, уставился глазами в стол и думаю про... американцев и про Запад, вообще: «Ах, как же вы не понимаете, что эти молодые, в светлых костюмах, с безукоризненным произношением, с вполне приличными манерами, куда как страшней Брежнева да Голышникова. Да вы ж пестовать старых-то должны. Да вы молиться на них Богу должны! Это ж не вожди, не деятели, а добряки. Вот придет им на смену молодежь, вот придут к вам владимиры ильичи пожаровы, тогда только поймете вы, кого помогали растить. Но будет поздно. Так поздно, что не скажешь: «лучше поздно, чем никогда! ибо «их поздно» — и будет — никогда...»

Ну, что сказать еще? Говорили мы часов пять или шесть, а о чем? Да ни о чем. Под конец Голышников взял инициативу в свои руки и был со мной ласков. Даже нежен был и уверял меня, что пустят семью назад. И что не посадят, а я скептически качал головой. И я не хотел нарушать мягкого прощания, ибо страшно

боялся, что дома узнают, как я, просясь, дважды срывался и хамил. И еще: я понимал, что теперь-то они меня точно не пустят. Но я вдруг ощутил какую-то обреченность. Я знал, что ждало меня в Бруклине, дома. И мне хотелось, чтобы пустили, чтобы наступил конец всему, я впервые ощутил груз лет и предстоящего восхождения, на которое я не способен. Я ясно понял, каково человеку, борющемуся в открытом океане со штормом, и как этот человек неожиданно устает и перестает сопротивляться.

Прощались мы перед выходом в холле посольства. Я спросил, где остановка автобуса, чтобы попасть на вокзал... Тут — чудо! В какое-то мгновение один из троих буркнул, выбрав момент: «Учите английский!» и повторил: «Учите английский!» А что это значило? Что меня не пустят, а им ведь в тот момент было надо, чтобы я уверовал в то, что меня пустят! Он, этот один из четверых, предавал их? Или спасал меня? Вы можете сказать, что это была часть разработанного плана. Нет! Они еще почти год поддерживали в моей семье надежды. Причем, очень старались. И потому факт «одного из четырех» — многозначителен... И оставляет проблеск надежды...

Возвратился я в Нью-Йорк ночью. Взял такси. Доехал до дома. Поглядел на часы. Два без пяти. В окнах свет. Ждут отчета, хотя обычно сроду не ждали. Собираюсь с мыслями и решаю: буду обнадеживать, чтобы получить хоть крошечную передышку. (После я за нее заплачу!!)...

На следующий вечер в половине десятого, когда лежал я на узкой койке в гостиной, началось жуткое жжение в груди. А я весь день норовил подставить себя под эйрокондиционер. — «Продуло» — решил я, но боли усиливались. Терпел я час, а после позвонил приятелю. Он знал английский. Звоню ему, разбудил, он спросонок долго не мог понять что к чему. После понял, сказал «ОК». «Эмердженси» прибыла тут же, но почему-то пехом спустили меня со второго этажа. Однако в госпитале сразу поняли и окружили таким вниманием, заботой и техникой, что через несколько минут я погрузился в небытие, а утром увидел себя в очень светлой, очень чистой и очень прохладной палате. Лежал я один. Я тогда жутко взволновался: чем платить?!

Мне сказали через переводчицу, нашу эмигрантку, работающую в госпитале, что у меня «средний инфаркт» — цена вашингтонского визита была не слишком высокой, если бы расплата кончилась...

Что еще? Через полтора года нам отказали. В Москве мстительные праведники из числа высоких моралистов МВД вызвали родных и сказали: «Никогда не увидите, во веки веков! Никогда!» И у меня отлегло, но не сразу. Я еще получу второй, очень обширный инфаркт. И мой друг, врач, он же друг моего брата, Володи Высоцкого, будет сидеть у меня в палате. И Во-

лодя из моей палаты будет спешить на концерт в Квинс. И будет непривычно нежен, а после наш друг, доктор Гурин, скажет мне, что я висел над пропастью и цеплялся за край одним пальцем. Но удержался, а вот Володя — нет!..

Я приехал в США семь с половиной лет назад. По приезде, благодаря семейным обстоятельствам, сразу попал в омут ностальгии, не моей, конечно, хотя я и по сей день тоскую по друзьям и природе. Здесь у меня появились новые друзья, но пусть не обидятся они: «Старый друг лучше новых двух», даже если старый друг и хуже. И природа: в США она оптимистическая, яркая, пружинистая. Как лезгинка. Здесь она отрепетированная и подстриженная. А там заброшенная и всепроникающая. Может, оттого, что в ней я родился, не знаю, но тоскую я по природе. А когда приехал и вовсе тосковал, но снятся мне морды из «Леса» Володи Высоцкого. И «Дом» Высоцкого снится. Тот, в котором ступени, который сносить собираются, и тот, который так и не снесли, в котором разучились верить и даже жить...

ТАРЛО РАЗМАЗАНЫ ПО СТЕНЕ

Номер раскалился докрасна, так что казалось — дымился. Суету и маяту, царившую в номере, накрывало прозрачным, желтым, трепещущим. Из-под этого незримого, тягостного и горестного начали исчезать костюмы, галстуки, провода, тексты, шляпы, зубы, улыбки, окрики, нервы, оставляя повсюду окурки, затхлость знакомых и страшных чувств и запахов, паруса оторвавшихся, сорвавшихся, канувших лодок надежд, плотов сомнений и лучей заходящего отчаяния, и всего, что лишь зайдя, выпыхнет где-то за чертой и пределом. Паркет, прикрытый коврами, был весь в песке, и желтая тоска песка сыпалась сквозь не туго сжатую пригоршню минут, последних минут испытания, когда только Бог знает о сроках и делах грядущих. Так это можно выразить, а можно и так: люди ушли, и семья Тарло, оглушенная и опустошенная, осталась одна...

Им не сказали «До свиданья», им не сказали «Прощайте», им ничего не сказали. Даже элементарного «Спасибо» не сказали им. Просто свернули вещички и ушли.

Хотелось пить. Они привыкли в Штатах и в Израиле пить апельсиновый сок. Или — «коку». Но не было ни копейки денег...

...Только сейчас Владимир Ильич начал схватывать и пытаться связывать отдельные детали, штрихи, мгновенья в цепь, которая не смыкалась в сплошную и неразрывную, но все равно оставляла впечатление прикованной к ногам их неразрывной и нерасторжимой, как узы помысла и поступка совершенного, ошибки. То ли Голгофа, то ли место Лобное возле мавзолея, где возлежит чучело тезки его, то ли, что это? — Небо опрокинутое,

Земля вывернутая — не пухом, не облаками... Боже мой, какое нагромождение ошибок!.. Он не думал, что подлостей и предательства, но — ошибок. И он был прав. То были ошибки. Только ошибки. Палец судьбы на огромном столе, — из событийного хлеба, из мякиша искромсанных душ катал шарики. И на полированном покрытии шарики мякиша коричнево чернели.

Горят щеки, руки-льдышки и тоска сквозная, лезвием тоска, зоркая тоска, зияющая тоска, тоска земная и заоблачная, тоска по себе самому три месяца назад в Квинсе, тоска по «Верразано бридж» в смысле — взять и рухнуть вниз, чтоб забыть все совершенное. И чтобы вернуть безвозвратное. Как это было? — Санаторный врач. Девочка-школьница. Жена-учительница. Почтенные имя-отчество. Как это — взасос поцелуй ведьмин? Вампиров засос, а если начать думать проще — с ума сойти, рехнуться, впасть в шизофрению тихую, как мертвая бухта, брошенная пиратами, но простые слова все равно возникают, возвращая его в знобкое, зябкое, зыбкое сейчас, где возле — жена, поодаль — дочь, и на них, на троих, рухнувший мир. Весь мир на них, навалившийся, захлебнувшийся их прозрением, их бедой, а зов из-под обломков — тщета, не более того, а возвышенности равнин выше помыслов его, ибо сейчас, в этот час его помыслы низменны и высоки — это и есть позднее раскаяние, впрочем, не бывает ранних раскаяний. Раскаяния — всегда поздние. Ранними бывают лишь рассветы и планы, а все, что после зари и поступка — поздно. И — темно...

Так мысли гонят человека в лузу, так мысли забивают человека в лузу, так, если на то пошло, человек вместе со своей слабостью сам себя забивает в лузу. И мысли, глупые и мятые, тисканные и тасканные: ах, кабы вернуть все назад к тому мигу роковому, когда вошла в мозги дерзкая мечта взнудать случай, взгромоздиться на него и ускакать за тридевять земель. И вот — результат...

Его, Бертю и девочку словно размазали по стене. А когда они стекали на ковры и попадали на пурпурно-красный фон тяжелых гардин, то — становились черно-белыми: жизнь прочерчивала, на ярко-красном, контуры их, а внутри было белое, выхолощенное, выскобленное и вымороченное, внутри на красных всполохах было вымученное, и тонкие контуры, казалось, не выдержат напора всего и хлынут кроваво вовнутрь и не станет ни вымученного, ни выхолощенного, не станет жизни, и даже следов ее не станет...

А гэбэшники сейчас смеются, сидя в каком-нибудь афинском кабаке, попивая почти дармовое вино — им-то валюту отпускают в долларах, — думал Владимир Ильич. — Как удрать из гостиницы, не заплатив? У него было несколько лир и два чемодана с тряпьем.

Он вошел в роскошную ванну, сунул голову под кран, черной с медью раковины. Вода была холодной, ледяной, но — не освежала. Он держал голову под краном долго. Голова немела, но не светлела. В ней были — боль, гул, визг, писк, но не было мыслей. Были чувства без мыслей. А ему бы сейчас мысли без чувств, ему бы озарение сейчас, маленькое озарение ему бы...

С Афинского аэродрома улетали в Москву телевизионщики. Они везли исповедь Тарло. Мирный груз. обычная поклажа. На редкость нормальное дело для советских, вывозящих с Запада все: от военных тайн до хлеба...

Ни у кого не болело сердце за семью Тарло. Ни у кого кошки не скребли на душе по поводу семьи Тарло.

Могут сказать: «Они же подлецы! Они же всех обгадили: и СССР, и США, и Израиль. Они же — грязные, нехорошие люди...».

Да, люди они, судя по их действиям, плохие. И все же...

Вот она, жена Тарло, в глубоком кресле, свернувшись в комочек, как замерзший, заснувший щенок. Но она не спит. Она... да вы представляете, что с ней сейчас? А дочка, белая, как стена, как снег, и белее, белее гораздо, и мечутся на отбеленном лице карие, запуганные, загнанные глаза, и сухие потрескавшиеся губы дрожат, и пальцы сцеплены, и вся она — одинокая камышинка на ветру, десятилетняя Аня. А в разведках работают серьезные, взрослые бугаи.

А в СССР на Лубянке ставят галочку — дело сделано. Какое дело?

В то время, как Тарло прокручивались по собственной инициативе в гэбэшной мясорубке, Валерий Кувент благоденствовал в городе Нальчике. И — его трое детей. И — его мама. И — его жена.

Они жили и радовались под высоким небом. И у них были полные штаны счастья.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Видимо, читатель понял: Владимира Ильича, тезку Ленина, назад не пустили. И остался Владимир Ильич Тарло с семьей — между небом и землей. США — закрыты. СССР — закрыт. И все — закрыто. И что остается? Небо и Израиль. Ну, ведь только что семья Ильича поливала это крохотное государство. Смешивала его с грязью. И завтра на пяти-шести миллионах телеэкранах в СССР покажут часовую передачу, которую закончит диктор, как расписавшись за исповедь, словами: «Предателям не место в нашей стране». А послезавтра будет вот эта статья. Мне подарили вырезку, не знаю, из какой газеты. То ли из

«Литературки», то ли из «Ялтинской». Не знаю, но «Зирокс» со статьей передо мной. И перед вами.

Осторожно: Сионизм!

ИСТОРИЯ «БОЛЕЗНИ»

В одном шутовском стихотворении говорится: «Письма пишут разные: слезные, болезненные, иногда прекрасные, чаще — бесполезные». Владимиру Тарло, бывшему советскому врачу, а ныне безработному в Израиле, не до шуток. Он в своих письмах апеллирует к советской власти в целом и к отдельным ее представителям, обращается в самые высокие инстанции и к частным лицам. Смысл его стенаний один: впустите Владимира Тарло, его жену Берту, их дочь Аню обратно в дверь, которую они сами за собой захлопнули.

Кто же он такой, Владимир Тарло? Фамилия в Крыму достаточно известная, и носили ее до него достойные люди: дед — профессор, отец — научный работник, участник Великой Отечественной войны. До прошлого года никто из тех, кто знал эту семью и самого Владимира, не мог предположить, что он жаждет «воссоединиться» совсем с другими родственниками, которых дотоле и видом не видывал и слыхом о них не слыхивал.

Получив письмо от некоей тети из Израиля, В. И. Тарло испытал такой внезапный прилив родственных чувств, что хоть криком кричи: немедленно отпустите к тете!

Его отпустили к октябрю прошлого года. А через месяц из-за кордона послышалось: «Караул, обманули!» Во-первых, не оказалось тети. Умерла, не оставив наследства. Да и была ли она, эта мифическая тетя, от имени которой писали дяди из сионистской организации? Во-вторых, тридцатитрехлетнего врача попытались немедленно забрать в армию, чтобы шел убивать арабов (из него хотели сделать «пушечное мясо», — пишет его настоящая тетя из Симферополя). Когда отказался воевать, семью лишили пособия. Работы не нашлось ни для врача Владимира, ни для преподавателя английского языка Берты. Зато для их малышки Ани в школе нашлось сколько угодно пинков, зуботычин и других издевательств, на которые способны дети в израильском «ране».

«Наша молодая семья с маленькой дочкой переживает страшную трагедию нашего необдуманного поступка. Просим нас простить, защитить от преследований и помочь вернуться в СССР, на нашу любимую настоящую Родину», — пишет Тарло в официальном заявлении, датированном апрелем 1980 года.

Написано уверенно и даже категорично. Хотя перед отъездом его предупреждали о серьезности и необратимых последствиях этого шага, Тарло уверен: главное — хорошенько покаяться, сказать «я больше не буду», и все вернется: и крымское солнце, и квартира в Ялте, и зарплата два раза в месяц (полторы ставки), и улыбки знакомых, и благодарность больных. Вернутся города, поселки, села, большие площади и малые улицы, где каждый встречный понимает язык, на котором говорит он сам и его семья. Понимают язык — понимают тебя. Он даже не думал, что это так важно.

А что же он думал, доктор Тарло? Вот этого, как выяснилось, никто не знает. Выяснилось это при подготовке очередной передачи «Осторожно: Сионизм!», когда сотрудники Крымского телевидения решили пойти по следам Тарло В. И., попытаться установить, как он дошел до своего падения. Ни разговор в Крымском медицинском институте, ни беседы с родными ничего не прояснили. То же произошло и в неврологической клинике института имени Сеченова, где работал Тарло до своего отъезда.

Никто не мог сказать, когда началась болезнь врача и как долго она протекала скрытно. В анамнезе (этот медицинский термин в истории болезни означает тот период, который предшествовал ее возникновению) все благополучно.

«Человек с двойным дном», — так теперь думают о нем в научно-исследовательском институте имени Сеченова, где он проработал шесть лет.

— Тарло пришел к нам после окончания института, — вспоминает главный врач клиники института имени Сеченова Я. М. Бершидский. — Мы ежегодно принимаем на работу несколько выпускников, молодежь у нас любят, и молодые врачи быстро растут. Так получилось и с Тарло. Заметив его старание, послали на повышение квалификации, дали возможность участвовать в республиканском съезде невропатологов. А когда молодой врач стал заниматься научной работой, ученый совет утвердил ему тему кандидатской диссертации, назначил руководителей.

Рассказ продолжает заведующая неврологическим отделением В. А. Ежова:

— На работе Тарло проявлял себя с положительной стороны, больные хорошо о нем отзывались. Энергично взялся за диссертацию, собрал основательный материал. Нужно сказать, что для работы ему были созданы все условия.

И вдруг Тарло отказывается от завершения и защиты диссертации. Причина? Кто-то ему сказал, что кандидату наук нужно якобы больше платить за выезд, компенсируя государству затраты за обучение.

— Летом, в разгар отпусков, он подал заявление об освобождении от работы. Я написала, что возражаю. Тогда он просто оставил свое рабочее место. Сказал нам, что переезжает в Севастополь, а оказался в Израиле. Узнав об этом, мы были буквально ошеломлены. Никто от него такого шага не ожидал, — заканчивает свой рассказ В. А. Ежова.

— Несколько лет мы сидели с ним в одном кабинете, столы наши стояли напротив, — говорит молодой врач. А. Ю. Царев. — Но ни разу я не слышал от Тарло, что ему здесь не нравится и он мечтает о какой-то другой жизни. Истинные свои мысли и намерения он ловко скрывал. Узнав о его отъезде, я был также удивлен и возмущен, как и весь наш коллектив.

Секретарь партбюро института А. С. Вахницкий, научный сотрудник клиники, секретарь цеховой партийной организации Е. Г. Корниенко буквально не находят слов для выражения своего возмущения: растили, учили, помогали во всем, лечили, давали путевки — и все это принималось, как нечто само собой разумеющееся и было отвергнуто походя, как только поманили куском заокеанского пирога.

— Он не только весь наш коллектив предал, каждого из нас, он предал самое святое — Родину. — Так расценивают поступок Тарло в институте, где он работал.

Узнав из писем, что в чужой стране врач, без пяти минут кандидат наук, с великим трудом нашел работу санитара — нанялся мыть два раза в неделю парализованного старика, что семья живет на жалкие гроши, голодает, коллеги качают головами: как же так могло получиться? Ведь слушал лекции, знал, что буржуазный национализм и сионизм, в особенности, — коварное оружие в руках реакционных кругов, средство разобщения трудящихся. Выходит, слушая не только это, слушал и «голоса», которые вливали постоянно яд в его разум, пока не отравили совсем.

Может, жена оказалась трезвее? Нет, заболели оба.

— БERTУ Тарло, тогда еще Бух, помню со школьной скамьи, — рассказывает директор ялтинской средней школы № 12 В. Л. Малкова. — Была хорошей ученицей, окончила Симферопольский пединститут. Молодая семья получила двухкомнатную кооперативную квартиру. БЕРТА хорошо знала свой предмет — английский язык — и очень хорошо проводила классные часы: прямо заслушаешься. Высокие слова слетали с языка заученно, бездумно, и никто не мог догадаться, что за ними ничего нет — ни веры, ни убеждений, ни даже простой благодарности.

Летом она подала заявление об уходе, ссылаясь на болезнь дочки: посижу, мол, год-другой дома. Ей поверили.

БЕРТА Тарло обманула директора, предала коллектив, бросила стариков-родителей, которые души в ней не чаяли. От

стыда пришлось им переехать в другой город. Прятали глаза, встречая знакомых, не знали, что отвечать на вопросы о дочери.

Сионизм — та сила, что искалечила молодых Тарло, души их искалечила. Многим из тех, кто знал эту семью, почеловечески жалко Тарло, особенно маленькую Аню. В. И. Тарло в своих письмах умоляет спасти хотя бы ребенка: пусть дочь воспитывается в Советском Союзе! Письма полны клятв: «Мы обещаем и клянемся поехать в любую точку СССР, самый трудный участок строительства, чтобы искупить свою вину перед Родиной». Словно в этой «любой точке» не нужны люди, которым можно верить...

С. Суханова

ДРУЖБА НАРОДОВ

Прочли? Ну, как? Верно ведь, здорово. А если еще учесть, что гэбэшники клятвенно заверили семью, что сразу после съёмок в афинской гостинице их повезут в аэропорт. И — в родимую Ялту, конечно, через Симферополь, а не «через Саратов на Пензу», в смысле: повезут Владимира Ильича с семьей на родину к Черному морю.

Обещали Тарло В. И. и его жене прежнюю работу. Говорили, что, конечно, все сразу забыть не легко, не просто, а все-таки — забудут, простят.

И — забыли. В гостинице забыли семью и забыли заплатить за номер. Может, ЦК КПСС и Лубянка выделили несколько долларов на оплату номера, и просто телевизионщики пропили эти денежки, а скорей всего купили на них рубашек, носков и еще чего-нибудь на распродаже. По дешевке.

Здесь, думаю, потеряли мы Тарло. И пойдем дальше, учтя, что на коротком, как поводок, нашем пути потеряли мы двух Владимиров Ильичей. Двух, так как неизвестно нам, что будет с третьим.

Поехали дальше. Дорога все ближе в конце. Гоню, притормаживаю, гоню. И опять притормаживаю. А потом разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов. Направляюсь в Омск, но по дороге хочу отвлечь вас. И развлечь. Если получится.

И хочу пройти по большой теме. Эдакий променад по неостывшему полю боя. Давайте пройдемся об руку. И поговорим душевно. Тихонько. Тема — опасная. По-разному, конечно, опасная, зато — всюду. Даже в Израиле. Тема такая: любят-ли русские (здесь можно поставить кого угодно — французов, арабов, немцев и т.д. и т.п.) евреев?

Жаль — никто ни у кого не спрашивает советов. Ни — дома, ни — в эмиграции. А скорее всего — нигде. Такова, видно, сущность человеческая. Опыт свой-то — ноль, а уж чужой — провались он, пропади он пропадом. Так-то. Когда б меня спросили: «А что же такое была «первая и вторая волны», когда к нью-йоркским берегам прибилась «третья»?

Я б сказал: «Бегите от них подальше, держитесь от них подальше! Рвитесь сразу в США! Это — спасенье, а Россия в США — гибельно, тяжело и оскорбительно. Главное, — оскорбительно. На самоуважении держится Россия до сих пор? И это — при самовлюбленности, самовосхвалении, самопрославлении и т.д.?

Принцип российский, ставший советским, — сомнение: «Ты меня уважаешь?». Его приписывают пьяным. А Россия и СССР всегда — пьяны. Всегда похмельны. Всегда в состоянии то — похмелья, то — эйфории. То — море по колено, то — гора Ара-рат, то — тельняшку на груди в клочья, то — хвост поджавши, если цикнуть.

Операция «Возвращение» в определенной степени — похмелье желающих возвратиться и похмелье желающих возвратить. Здесь — полное взаимопонимание, обусловленное сиюминутностью. А на завтра — плевать, к чему и зачем заглядывать за поворот. Как в песне: «Мне бы взять, да заглянуть за поворот... да только гордость не дает, заглянуть за поворот».

А это и не гордость, а тупость вековая. И самоуверенность. И страх. И рабство в крови. Тоска по кнуту. И по прянику. Тоска по строгому ошейнику. Когда ведут. А куда — плевать, но: по часам похлебка, секс, бутылка.

Это — тема Ключевского, Соловьева, историков, тема Достоевского и Гоголя, а я — только на миг коснулся, чтоб не оправдывать и оправдаться, а попытаться изложить то, что вижу, а вижу я, что никакой такой оттепели сроду не было в России и в СССР, а медленно течет эта водная мощь, а ливни и засухи — ничто. Почти ничто. И мы — эта водная, неуклонная и неотклонимая мощь, которая слабость скорее, ибо жизнь не терпит неуклонности и неотклонимости. Жизни нужна приспособляемость и гибкость, а этого нет в России, в нас, хотя гнемся мы в пояс внутри себя и вне, но не можем мы гнуться согласно природе человеческой. А потому — ломаемся. И хворостом жжем себя...

Но, слава Богу, наша эмиграция сбрасывает кожу. Вот только душа...А? Не мертвечина...

Так любят русские евреев, а если — да, то — за что? Если нет, то — почему?

У меня было две жены. Обе — русские. Первая меня люби-

ла. Вторая — нет. Первая любила меня за то, что я еврей? Или — просто? Не знаю, но думаю, что она не стала антисемиткой потому, что полюбила меня. А может, потому, что она племянница порядочнейшего человека, первым выступившего вслух против Григория Распутина. Племянница обер-прокурора Святейшего Синода Лукьянова? Российского интеллигента чистых кровей. А может, и потому, что понимала: нельзя любить евреев, нельзя не любить евреев, а можно любить хороших людей и не любить — плохих. И делать это не только можно, но и нужно. Короче, моя жена любила евреев хороших.

Вторая моя жена не любила меня. Однако, дружит с другими евреями. Это о чем-нибудь говорит? По-моему — ни о чем. Разве только о том, что первая жена всегда лучше второй и всякой последующей. Но и здесь кое-кто может со мной не согласиться. И будет прав. Ибо нет единых правил и рецептов для человека, хотя под такой вывод можно подвести и антисемитизм. И что угодно, что и делается повсеместно.

Повесть обязательно будут читать евреи. Я в этом просто уверен. И я не уверен, будут ли ее читать люди других национальностей. Хотя — надо быть смелей, тогда, может, и будут. Вон один еврей сравнил себя «тонко» с Набоковым. И — все! — Теперь его будут читать как Набокова. Или — нет. Это — непроверяемо, но я опять вошел в вираж и, по-моему, во второй круг...

Посмотрите на эту фотографию.

Видите? Это — Люда Зыкина, и вы ее, безусловно, узнали. Я вас с ней познакомлю. А вот кто это ее обнимает? Узнали? Скорее всего нет, а ведь это — Михаил Александрович. Не просто еврей, а бывший и, как выяснилось, будущий кантор. Он — по совместительству еще и мой приятель, что его компрометирует в канторском плане, ибо, кажется, канторам не след дружить с плохими евреями. Особенно, хорошим канторам. А Миша — потрясающий кантор, но здесь, на этом фото, он — в Омске и обнимает самую популярную нынче исполнительницу русских народных песен, но, главное: исполнительницу в жанре профанации русской народной песни, в жанре подмены русской народной песни — советской. Впрочем, подмена всего русского народного — суррогатом — нынче дело самого великого русского народа. И он старается во всю.

...На задней стороне фотографии надпись русским народным почерком полуграмотной певицы: «Голосистому Соловухе. С большим уважением к Вам и Вашему голосу. Люда Зыкина. Омск. 27 июня 1966 года». Пятнадцать лет тому назад Миша обнимал Люду, а Люда любила Мишу.

Самая главная русская народная певица любила самого

главного и неубитого еврейского народного кантора Михаила Александровича, который, конечно, на территории СССР не был кантором, а пел концертный теноровый репертуар с огромным успехом и был долгие годы гастролером номер один на советской эстраде.

На фото мы не видим их рук. Наверно, они — в пожатии. Пятнадцать лет назад и раньше Люда любила меня. Как человека. У нас с ней были сложные отношения, в которых она была мне многим обязана, а я ей — ничем. И вот, когда я начал писать песни, попалась у меня а ля русская народная песня на музыку великолепного мелодиста Марка Фрадкина, написавшего «Ой, Днипро», «Течет река-Волка», «На тот большак», «Замела метель» и другие, Люда немедленно понесла песню на радио. Это была песня «Звезды России». И вот, написанная двумя евреями, русская народная песня впервые зазвучала, но не по радио, а на «Голубом Огоньке». За столиками сидели женщины средних лет и плакали, а Люда пела: «Слезы, слезы, сколько слез у России, слезы, слезы, серебро по плечам: потерявшая сына, пережившая сына, не забывшая сына, плачет мать по ночам». Плакали за столиками матери, потерявшие месяц назад своих сыновей на Даманском полуострове.

Итак, два еврея написали песню, русская спела ее, а украинец приказал песню изъять, ибо «В ней нет ни одной красной звезды. Только на обелисках! И это — советская песня?! — возмутился товарищ Шауро. И тут скажу: там, в СССР, давно уже антисемитизм — партийный, а не народный. Народный случается, ибо, спущенный сверху и подогреваемый, он, естественно, достигает цели. Однако, с полной уверенностью и ответственностью можно заявить, что Главные Антисемиты в СССР — партийные чины. Товарищу Шауро не хватило красных звезд в песне. На обелисках ему — мало. Ибо: за спинами моей и Фрадкина он видит желтые звезды. Слов нет: по крайней мере, в музыке еще есть евреи. Но много — не надо. Шульженко с гордостью объявляла, а может и объявляет песню «А снег повалится». Она говорит громко, вздернув голову: «А сейчас «А снег повалится», музыка Пономаренко, слова Евтушенко, поет Шульженко!» — Молодец, Клавдия Ивановна! Но хотел бы я видеть, чтобы Кобзон сказал: «А сейчас «Дождь идет», музыка Меерсона, слова Циппельсона, в исполнении Кобзона!»

Кобзон — государственный еврей, но за этот номер ему бы влили.

Зыкина любит отдельных евреев, а может, и всех, но у нее любовь регулируемая. Началась эмиграция. Я уехал. А она приехала на гастроли в США. Я пришел к ней за кулисы в Карнеги Холл. Мы обнялись, расцеловались. Она меня не отпустила в

зал. Я сидел за кулисами, как когда-то, сто лет тому назад. Она все время оглядывалась и улыбалась мне. Уходя на поклон — целовала и трогала, будто я с луны свалился. Или — она.

Зыкина привезла мне фотографии моих дочек и внука и много конфет от первой жены, которая любила евреев, ибо любила меня. Вторая жена есть конфеты не стала и через несколько лет бросила меня.

Через полгода я узнал: Зыкина выступала на собрании в Министерстве культуры и лгала. Обо мне и про меня. Как говорят в русском народе: «Вот тебе и вся любовь!»

А сейчас посмотрите на эту фотографию. Кто это? — Верно, Людмила Гурченко, а рядом с ней еврей Борис Сичкин, который на второй фотографии репетирует сцену предстоящего ему отъезда из СССР в США. Даря мне этот снимок, он сказал: «Вот так мы уезжаем. С гордо поднятой головой!» Я тогда подумал: «А почему нам не уезжать с гордо поднятой головой? Мы заслужили гордо поднятую голову при отъезде».

Люся Гурченко любит евреев бескомпромиссно. Мы с ней дружим со времен «Карнавальной ночи». Я бы не написал нижеследующее, но в той группе, с которой она приезжала, была стукачка. Она все видела и все донесла. Поэтому я могу смело писать. Тем более, что Люся больше всего на свете любит не Нью-Йорк, не Париж, не Украину, а Россию.

Зыкиной я не жаловался на трудности. Я еще пребывал в коктейльном состоянии эйфории и ужаса одновременно, а вот Люсе жаловался. И было на что, ибо ко времени ее приезда в Штаты с киногруппой, я был уже кавалером трех инфарктов. И моя бывшая жена проявила себя в полной мере. Но я уверен, Люся нигде не выступала. И не крыла ни меня, в частности, ни евреев, в целом. Люся — умница. И очень талантлива. Федор Иванович Шаляпин когда-то говорил: «Вокалисты — болваны, потому что у них в голове вместо мозгов — резонатор». Зыкина — певица, подпадающая под злое и не совсем справедливое шаляпинское определение. А Люся — и не певица, а будь она и певицей — все равно — умница, страшно талантливая, не слишком счастливая, хотя вроде сейчас и ей начала улыбаться фортуна. С ней вместе приезжал грузин Жора Данелия. Он любит евреев. И он — хороший человек. И с ним я единственный раз после инфаркта напился.

Мы почти не расставались с Люсей в Нью-Йорке. Но мы не говорили ни о советской власти, ни об американской демократии. Мы говорили о людях. наших общих друзьях. И врагах. Ибо такие тоже у нас есть и до сих пор — общие. Так-то. И украинка Люся любит евреев. И не ждет на этот счет никаких команд. И ее папа, простой украинский мужик, обожавший рус-

скую гармонику, любил евреев. По крайней мере, уважал. Всех. Без выбора. Кроме подлецов. Ибо и такие водятся среди нашего брата. Так и вижу люсиного папу, прислонившегося щекой к гармонике. На кухне квартиры дома возле площади Маяковского. Он играет попури из любимых песен, и попури всегда начинается люсиной песней «Пять минут».

И еще он пел нашу с ней песню. Она, написав музыку, не успела ее официально записать, но неофициально поет всюду, не объявляя имени автора слов: «Березы стонут, мороз — под сорок, забился ветер в березах дрожью, а тишь такая, что даже шорох пробиться через никак не может...»

ЛЮБИМ ЛИ МЫ САМИ СЕБЯ?

Это — риторический вопрос. И каждый из нас имеет на него свой ответ. В принципе человек так устроен, что любит себя больше всех, но я, задавая вопрос, имел в виду нечто общее, нечто вроде того, что: «Любят ли евреи сами себя, свою нацию, свой народ?» У меня есть ответ: «А как же! Конечно! Любят. И свой народ! И свою нацию! Вот друг друга — это вопрос...» Один еврей мне сказал: «Я всю еврейскую нацию обожаю, а каждого отдельного еврея терпеть не могу».

По-моему, Израиль встречал да и встречается евреев из СССР плохо и, по крайней мере, — непродуманно. Или — без любви.

Я приведу две истории. О двух интеллигентах. Это показательные истории для Израйля и для евреев, а сейчас скажу, что операция «Возвращение» проходила и в США, и в Израйле, только в Израйле она проходила с предшествующим бегом в Вену. Прямо. Через Рим. Через Афины. Через что попало.

Операция «Возвращение» в США проходила под знаком «Израиль». Из каждых десяти человек, желавших возвратиться в СССР, восемь-девять прибыли в США из Израйля (!). Не знаю, как такое соотношение звучало среди возвращенцев из других городов, но из Нью-Йорка оно звучало именно так. Прямыки* возвращаться не желали, за редкими исключениями.

Что в этом соотношении? Случайность?

И сегодня не готов Израиль к приему евреев из СССР. И, видимо, никогда не будет готов, ибо Израиль полагает, что делает одолжение советским евреям, принимая их. (Вот США делают одолжение), а евреи из СССР полагают и, наверно, пра-

* Прямык — эмигрант, направляющийся из СССР через Вену и Рим, прямо в США, минуя Израиль.

вильно, что они приезжают в Израиль помогать ему, помогая себе... Человек так устроен, что легенда о родине предков мало его утешает. Евреи уезжают из СССР, трудной, несчастной, горестной, но родной для них страны, где — антисемитизм. Но если честно, положи руку на сердце, — где его нет совсем? Где?

Где нет антисемитов? Только там, где нет евреев. Например, в Израиле антисемитов сколько угодно. На Брайтоне — тоже. Почти каждый, приехавший из СССР еврей, называет остальных — дерьмом. И делает исключение лишь для двух-трех приятелей и Андрея Седых. И поговорив с нашими евреями, начинаешь понимать правоту тех, кто утверждает: самые большие антисемиты — евреи.

У нас куча бед, однако, самая большая наша беда — мы все поголовно немножко гении. А кое-кто — «множко». Ну, мы, конечно, все до одного — яркие индивидуальности. При этом условии нет и не может быть нации. Люди любой национальности считают себя «индивидуальностью», но чтобы «только индивидуальностью»!

Могут возразить: «А как же наши великие израильские победы? Как же операция «Энтеббе»? Как иракский реактор?

Да!

Это было! Это есть! Это будет!

Но это — всего лишь противоречия, исключения из правил, не более того. Это всякий раз — великое перевоплощение...

Один еврейский писатель, с русской, как он полагает, культурой и с прибалтийским акцентом, пишет книгу «Белый флаг». Я точно не знаю, о чем книга, но я точно знаю, что этот писатель жил под красным флагом, ходит под черным, а пишет — про белый. И мне кажется очень символичным для советского еврея множественная смена флагов.* Ибо мы по своей еврейской ментальности — плохие политики. Хорошие политики из евреев случаются два раза за две тысячи лет. Один был Джеймс Дизраэли, лорд Биконсфильд. Уже Генри Киссинджер — непонятно какой политик, мягко говоря.

Но я отвлекся от писателя, написавшего ряд провинциально-еврейских баек «за парикмахеров, за знаменосцев» и против Израиля. Нынче этот человек взасос подружился с немцами. А кто против? Сталин дружил с Гитлером и что? Ничего. Да, так этот писатель нынче работает над теорией, как сделать интеллектуальное вливание США немцами через евреев. Или — евреями через немцев, не помню точно. Эта теория выстроена на сюжете, где все решает зуб мудрости. Писатель — величайший из дантистов, с помощью зуба мудрости совсем

* О них, обо всех, — в «Тоске в области сердца».

юной героини, унижает американцев. Я-то думаю: так им, американцам и надо, раз они ему «грин карт» дали и пообещали гражданство.

По всем признакам писатель замыслил вторую «Человеческую комедию». С небольшой разницей, что в первой актерами были французы, а во второй будут евреи, немцы и девочки из Тайланда. Как видите, охват всесветский. Сложно? Так у нас все сложно. У нас все так сложно, что этот писатель, отправляя три письма за границу, восклицает: «Три письма! Это ж — курица!»

У меня был в Москве один знакомый. А у него был тоже знакомый. Страшно жадный. Этот знакомый моего знакомого однажды полюбил, в смысле захотел, одну женщину. Мучился неделю. Женщина была такая, что ее хотя бы накормить надо было. Наконец, знакомый знакомого нашелся. Он пригласил сам себя к ней на ужин со своими продуктами и выпивкой. На утро возбужденный прибежал к моему знакомому: «Слушай, я ее поймел! Заплатил тридцатку, но дальше помрешь от смеха. Вечером — я сам съел и выпил рублей на пятнадцать. Утром позавтракал на десятку. А на оставшуюся пятерку я у нее принципиально все духи выдушил!»

Вот вы прочтете эту историю и скажете про меня: «Антисемит!» А вот и нет. Знакомый моего знакомого не был евреем. Он был русским пополам с поволжским немцем. Каково?

Так что мы не жадные, но любим преувеличивать.

Одна ростовчанка говорила мне: «Я была у доктора. Она меня так шупала, так шупала! Меня родная мама так никогда не шупала!»

А как мы любим преуменьшать!?

Рассказывает, конечно, еврей: «Моя тетка весила сто семьдесят килограмм. Ее муж говорил мне, что моя тетка — немножко непромытого мяса».

Грубо? А разве мы не грубы? Зато мы умеем смиряться.

В лифте я почти ежедневно встречаю старого еврея. Из Польши. Он говорит по-русски. У него в зубах неизменная дорогая сигара. Как-то мы разговорились. Я спросил его, кто он и какая у него профессия. Он коротко ответил: «Миллионер»... У нас дом особенный. Он потрясающий, но в нем, точнее, в нашем корпусе могут жить люди с доходом не более восемнадцати тысяч в год. На мое удивление миллионер рассказал: «Я был молод и красив. И нашлась американка с парочкой миллионов, которая меня полюбила. После она умерла. Я женился во второй раз. Вторая жена не была миллионершей, но зато она меня не любила, а любила тратить деньги. Она ушла от меня вместе с последней тысячей. Но все прекрасно, пока я могу покупать себе раз в день такую сигару, к которой привык...»

А как мы умеем мешать?!

Я работаю. Заходит соседка. Я ей говорю, извиняюсь, что занят, работаю, а она мне, с обезоруживающей улыбкой заявляет, что я ей не мешаю...

А как мы сексуально озабочены?!

Старичок во дворе говорит мне: «Я — сексуальный маньяк. Мне — восемьдесят, а я все еще сексуальный маньяк. И я совершил ошибку. Сошел Секюreti прислал мне уборщицу. Ей — пятьдесят шесть. И я на ней женился. А сейчас обнаружил, что ноги у нее чуть коротковаты. Обнаружил после! Как вам это нравится? После! Не мог — до?!

Но все — ерунда. Мелочи.

А Израиль — не ерунда, не мелочь. А ведь могли израильтiane подумать об эмиграции из СССР — до? И теперь часть эмиграции Израилю мешает. А другой части мешает Израиль. Мы приезжаем в Израиль, и он нас щупает? Нас советская бюрократия так сроду не щупала. А ведь мы еще не научились «сигарной философии». У этой философии — смысл в том, что много чего было, что было хорошо. А у нас или ничего не было, или все было плохо. Хотя многие думают, что все было хорошо. Я — в числе их. И писатель-дантист — тоже.

Немцы начали и печатают его за теорию. Или философию, как хотите называйте. Он обманулся в своих пламенных ожиданиях, что евреи устроят скандал по поводу его книги «разоблачающей Израиль». А как он на это рассчитывал! Как рассчитывал! Как размахивал пухлыми ручищами над крохотным столиком кафе кинотеатра «Карнеги Холл». Как кричал: «Теперь оно никуда от меня не денется!» «Что или кто «оно»? — спрашивал я. — «Оно, чудо, богатство, денежки! Я, бля, искал к нему ход в черновиках. Я, бля, про машину «Тойота» роман задумал. Иглу в зад американским фирмам. Под откос, бля, Форды-морды, под откос Дженералы-генералы. Что, бля, как я рифмую?! Чище тебя, мудильник-будильник! Теперь-то евреи дадут мне миллион. Какие они не хитрые, но промолчат! Молча скушать мою пилюлю «Гуд бай, Израиль! Прощай, Израиль! Иди тра-та-та туда-то, Израиль!» — Нет, нет, они заверещат, как караси на сковороде. Все эти Таймсы-Шмайсы. А стоит им высунуть голову — пиздец! — Миллиончик в кармане. Лимончик желтенький в карманчике, — он опрокинул недопитую чашку с кофе, грустно глянул возбужденными блекло-голубенькими глазками на пропавшее добро и снова оживился, а борода тлела отбившими, отсверкавшими, отгоревшими углями, — ты запомни и заруби себе: я их поймаю!»

Это, в сущности, была наша последняя беседа. Нет, нет, я его не раскусил тогда. Я его раскусил раньше. Значительно рань-

ше. Тогда я ничему не удивлялся. Наоборот, тогда я уже знал, что он ходит в миссию при ООН. И понимал: антиизраильская книга — дуплет в двух зайцев. — Тем обиднее не попасть ни в одного...

Евреи не дали ему заработать миллион. Они не услышали, не увидели его, не обратили на него внимание. Как на бабочку-капустницу.

Коммунисты не дали ему заработать обратный билет.

В одной из своих «удач» о ста с чем-то страницах «классического и прозаического графоманства» писатель, после ряда неудач почему-то решил между прочим удостоить и меня своим благосклонным вниманием. Он возмутился, что я написал и напечатал рассказ про товарища Ленина, который я и привел в этой книге, ибо суть рассказа имеет к евреям прямое отношение: мы в СССР в общем-то — тоже нацменьшинство. Ниже рангом, чем чуваша, имеющие свою территорию. (Кто-то вскрикнет, вспомнив: «А Биробиджан!» А я там, в Биробиджане был! Того и вам желаю. И вот меня писатель упрекает, что я всего за десятку (!!!) написал про Ленина, а Ленин, де, парень, что надо... Ну, что ж, может, он и прав. Ленин — действительно великий человек. Но на броневику он стоял? Стоял. Артист, его игравший, с броневика падал? Падал. А рассказ перевели на шесть языков, и я за него получил больше, чем десятку... Кстати, этот писатель живет, как утверждают, литературным трудом. Все удивляются, а я нет. Я полагаю это нормой, ибо во все времена писатели трудно жили. Только в последние десятилетия в СССР подобные же этому писатели живут безбедно, а с ними заодно очень редко и — настоящие. Графоманы и в США живут припеваючи, а Фолкнер то и дело отрывался от работы и ехал в Голливуд «подхалтурить», портя свои гениальные произведения... А мой писатель живет еще и по другим причинам литературным трудом. Одна из них — он мало тратит. Он почти ничего не тратит. Этот предок и потомок самого себя тратит так мало, что тот полунемец-полурусский, о котором я писал, — тратил больше. Он, выдушивая принципиально чужие духи, все же ту пятерку истратил, верно же... На духи.

Но вернусь я к Израилю. Этот писатель был там и уехал. Он был долго. И надо сказать объективно — он мог быть там не только солдатом и полезным человеком. Кроме шуток. Он — не простой. И даже талантливый. Но он не умеет писать. А вот посадить бы моего писателя к радиозфиру на СССР вещать — чудо! Я знал в России двух-трех равных ему устных рассказчиков. А врет он так, что можно с ума сойти. Потрясающе. Он мне как-то рассказывал с девяти утра до часу ночи о том, как его покинула жена. А уже в дверях, когда я его провожал, расстроенный за

него, он засмеялся и сказал, что пошутил. Я ему чуть по морде не дал. Правда, прошло года три, и жена от него ушла, а я подумал: может, настолько потрясающая красочность его рассказов, что Господь Бог наслушавшись их, взял и провернул историю, чтобы жена писателя и впрямь ушла... Израиль изжил и этого человека, а зря. Как бы я к нему ни относился, я не могу не изложить общую точку зрения на этого человека — он Израиллю нужней двух-трех министров из числа второстепенных. И главное — он может давать советы во время боя.

Израиль продолжает обирать себя. Израиль не желает понять, что физическое выживание без своей культуры — дело безнадежное. Это доказала история. Можно победить в нескольких войнах, но нельзя «ехать на идеологии», которая практически себя изжила. Национализм и патриотизм — прекрасно, но они были и до нового Израиля. Как-то же евреи протянули две тысячи лет. А надо не как-то, и значит, Израиль должен что-то делать. Тут можно имена без конца приводить. А зачем? Ведь больше десяти лет эмиграции, а Израиль в этом вопросе не поумнел.

Приведу еще историю. Писатель, было время, хотел рвануть обратно. И я, упаси Бог, его не виню! Человек, о котором я сейчас расскажу, не хотел рвануть обратно, не хотел жить нигде, кроме Израиля, а живет в США. И добрая половина евреев во всем мире его знают, о нем слышали. У него дома в ньюйоркской квартире сидеть нельзя. Телефонная станция. Звонки без передышки. Внутренние и межконтинентальные. Австралия. Африка Южная. И Америка Южная. И Северная. И Европа...

А в марте этого года израильская газета «Давар» походя оскорбила его, назвав чуть не предателем. Любопытное совпадение. Примерно в это же время «Советская Россия» опубликовала статью об этом же еврее, печалась о том, как ему плохо. «Давар» тоже печалилась, оскорбляя и, кстати, советская газета столь же лживо писавшая, была интеллигентней «Давара». Увы.

А в чем же дело?

Вот оно в «двух словах»: Михаил Александрович, юный кантор, был «освобожден» советскими войсками в Прибалтике в сороковом году. И стал прекрасным и одно время самым любимым концертным певцом в СССР. Его успех более двадцати лет был фантастическим. И до отъезда он концертировал. Его любили миллионы зрителей, его пластинки разошлись в миллионах экземпляров и, плати в СССР певцу за проданные пластинки, был бы он мультимиллионером. Он им не был, но был богат. Даже там. Его признавали все крупные музыканты. А он взял и уехал на родину предков. Да и сам Бог велел ему ехать. Он хотел быть и певцом, и кантором. Он хотел, но те, кто представляли

Израиль, не хотели. И даже не то, чтобы не хотели, а было им наплевать. Он промыкался какое-то время, на грани голода в прямом смысле, ибо менять профессию ему было поздно, что уже спустя много лет, недавно признал помощник Бегина, Кадышаи, сказавший, что потеря Александровича — грубая ошибка, и «что он — юрист, работал плотником, приехав в Израиль, и это было верно, а Александрович должен был заниматься своим делом!» И вот на грани голода, имея кучу письменных комплиментов, обещаний и заверений, Александрович, любя Израиль, покинул его. Уехал в США. Получил контракт в Канаду. Вернулся в США. Он хорошо зарабатывает. Лучше, чем «многотиражный» писатель. За три дня еврейского праздника он получает десять тысяч долларов. Сейчас он служит кантором в одной из старейших ньюйоркских синагог. Это тоже кое-что. Он работает и думает о том дне, когда, обретя полную финансовую независимость от израильских чиновников, сможет вернуться на родину. Так он жил здесь. Так он живет. И вдруг «Давар» и журналист Ноа Звулуни обливают его грязью за то, что он семь лет назад «предал» Израиль, сбежав из него, а нынче мыкает горе в США. (Мыкает, зарабатывая, как штук двадцать Звулуни).*

Александрович ни разу за все годы, что уехал он из Израйля, не сказал против этой страны ни одного дурного слова. Тому — сотни свидетелей, а мы с ним дружим и чуть ли не каждый день разговариваем и — никогда! И каждый год он ездит в Израиль. Для души. Исключительно.

А Израиль, не давший блестящему кантору и певцу, зарабатывать на хлеб и крышу, вслед ему, объединившись с «Советской Россией», бросает обвинения в предательстве!

Помощник премьера Бегина, узнавший об этой истории из популярного еврейского «Алгеменер Журнал», где в статье Грешена Якобсона, его редактора, все было описано, сказал: «Если его возмутила статья в «Даваре», он — патриот. И мы ему не безразличны. И ему не безразличен Израиль!». Да, мистер Кадышаи прав. Александровичу не безразличен Израиль и сейчас. Но он — не советский еврей. Он воспитан не на марксизме-ленинизме. А советские евреи, когда с ними поступают так или примерно так, в лучшем случае, уезжая, начинают относиться к Израилю безразлично. А иногда — гораздо хуже. И винить их нельзя. На идею, даже самую высокую, хоть иногда надо намазывать немного масла. Голая идея, как голая пустыня. Идеям нужны оазисы. И тень отдохновения.

Советские евреи, как и все советские люди, а чаще и силь-

* Продолжение истории «М. Александрович — Давар» читайте в повести «Тоска в области сердца».

ней,—ус-та-ли! Они хотят наконец-то иметь право на труд и отдых. И — на свободу слова и печати. Те, кто попадают в США в прямом смысле, то есть выучивают язык и начинают жить в Америке, все это получают. А в Израиле и в русскоязычной Америке ничего этого нет и найти нельзя! Но к этому я еще вернусь в самом конце этой повести.

Вообще, евреи — странные люди. Рассуждают так: когда русский говорит, что любит евреев, он — антисемит. Когда говорит, что не любит — все равно антисемит. Парадокс? История. Добудьте, прочтите книгу Василия Васильевича Розанова. А ведь был он истинно русским интеллигентом. И интеллектуалом, пожалуй, посвйше Антона Павловича Чехова. Он в книжке «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» полемизирует не только с «Талмудом» и «Библией», но и с русскими, которые евреев защищают.

Вот я прочел эту книгу и подумал: конечно же, мы — странные люди. Даже своего алфавита не придумали, а позаимствовали у финикийян. Оказывается, у нас дело не в том, как писать, а в том, что писать. Это — в упрек, а по-моему — это верно очень. И, кстати, русский алфавит тоже позаимствован. Или нет? Или «А» нарисовал некто Иванов, но очень уж оно на латинское смахивает. Вот твердый знак — да, ибо он — палка, а мягкий импотентный — отношение к собственной религии. Так ведь тоже можно ответить Василию Васильевичу Розанову. Да он помер. И стоит ли? Стоит, так как дело его живет. А вот кому это надо? Только не русским. Только не евреям.

А КАТЮ-ТО ФУРЦЕВУ ОТРАВИЛИ!

Голышников мне напомнил. Сказал, что Зыкина обо мне хорошо им говорила. Может, и говорила хорошо, но в Москве, на собрании в Министерстве культуры рассказывала, что я у нее на груди рыдал, хотел назад. А я тогда, в уборной Корнеги Холл, не только не хотел назад, а наоборот: не знал, что делать, как успокоить домашнюю бурю по этому поводу.

А и пошел я в Корнеги Холл на Людин концерт через силу. Бывшая жена дважды звонила из Москвы. Первый концерт я пропустил. Она ночью позвонила, настойчиво просила, и я на второй — пошел.

Дело оказалось простое: жена передала мне фотографии внука, коего я в глаза не видел, и конфеты. Невидаль — конфеты. В США конфет нету. Общись и лопни — нету в Америке конфет, а если и есть, так на фантиках — империалисты с ракетами и бомбами. И шоколад — вредный, химический.

Зашел я с артистического входа, хотя перед тем купил билет. Но пришел я за час с чем-то. Поговорить надо, раз пришел. Ну, мне ходить за кулисы — не привыкать. В этих местах я и без языка, как рыба в воде. На пальцах объяснился, и уже меня пустили, как появился гитарист Гена Разуваев. Я-то тыщу лет знал, что он — стукач. «Здоров!», «Здорово!». Он не удивился, а вроде бы и обрадовался. Поташил меня наверх. Входим и — Люда! Увидела меня, бросилась, обнялись, расцеловались. Тащит меня в гримуборную. Там — костюмерша. И жлоб кобелиного типа. С макушки до пяток — член стоячий. Помню, Сережа Бондарчук здорово показывал: человек-член, напряжение-расслабление. Еще цыкал сквозь зубы Бондарчук. Я тогда хохотал, но думал: у нас вся Россия эдак-то: по струнке, плюнет и в кусты...

Люда обоих вытурила, дверь закрыла. Кроме нее, много ли артистов в стране, чтоб могли вот так наблюдателей и согляда-таев в США попереть из комнаты? Раз-два, думаю, и — обчелся.

Да, вытурила она их, обняла меня и в ухо: «Катю-то, Катю-то отравили. Не умерла наша Катя, а — отравили!» Я понял, что она — про Фурцеву. Я и сам думал, когда прочел о смерти ее скоропостижной: что-то тут не так. Брежневцы ее не любили. Она — человек Никиты. Раз уже резала она вены, лежала на Грановского, в Кремлевке. Тогда они еще стояли не крепко, отступили. А нынче вона как обернули, а может и врет Зыкина. Глянул я на нее — не похоже. Не врет. Даже белая стала. После успокоилась. Пошли разговоры. Ей там — хорошо. И все лучше и лучше. Это — правда. А мне здесь — трудно. И с женой — плохо. И язык! В смысле — нету языка, и сил нету учить в такой-то обстановке. но не сдаюсь.

Она меня трогает, я ее трогаю. Года два не виделись, а как с того света. Я — для нее, она — для меня. Тут звонки. Она меня потащила за кулисы. Оттуда, мол, слушать и смотреть. Я-то привычный. Сижу, гляжу, слушаю. Она на поклон выйдет, вернется и меня потрогает. Живой и невредимый. Так-то. Живьем в США никто никого не ест! И никто с голоду не помирает, а я так еще и разжирел! С чего бы это, когда не работаю, а за писания здесь платят гроши. Это — правда.

Еще в антракте посидели. Поплакала Люда. А я тоже загрустил. Оттуда я ее первую увидел после эмиграции. Уже потом — были другие и до Кобзона с Лещенко под занавес, а после — похолодание. Жалею ли я, что закрылись границы для культурного обмена? Нет, я рад. Не этому, а тому, что, может, Рейген и Хейг поняли, с кем они имеют дело.

Да, в антракте Люда показала мне две записки. Просили

мою песню «Звезды России». Но — нельзя мою песню. Нель-зя...

Вот и у меня, о, «Одинокый волк», спрос превысил предложение.

Уехала Люда, побывал я в Вашингтоне, после — в Кони Айленд госпитале. Покинул, слава Богу, Бруклин! Он у меня ассоциациями тянется в гиблое. Стал жить в Манхэттане. Не ах какой район, но дышится в Манхэттане по-иному. Я — городской житель, а Манхэттан — мечта. Сейчас я в него вообще влюблен. Уже нынче я без него и жить не могу.

Идет время с колуном, корежит одних, обтесывает других, третьим делает секир-башка. А многим прорубает зеленые дали, сквозные просторы, осыпает их созревающими, поспевающими надеждами.

Нью-Йорк набит слухами оттуда. Кому-то отказали, кому-то разрешили, кто-то надумал, кто-то передумал.

Композитор-песенник Боря Шапиро едет! Зачем? Никто не знает, но едет! И впрямь — приехал. С женой и с сыном. Алла, жена его — эдакая русопятая сексуалочка. Ну, постарела, не без того. Кто-то скажет: простушка. Конечно, но в этом и весь смак. Российские евреи из-за эдаких простушек частенько убиваются. Часто — нарываються, но Боре повезло. Алла — наш человек. Эмиграция, так эмиграция! Эвакуация, так эвакуация! Муж под боком! Сын под рукой! Слава Богу!

Устроил я им на первых порах наш дом. Дешево и сердито. В первый же вечер разговорились. Рассказал я им про Зыкину, про Фурцеву, а они мне: «Это — правда! Мы и подробности знаем, но — нельзя. Страшно». От кого узнали?

А с другой стороны: какое наше дело, кто кого там отравил из них. У них как были с самого начала волчьи законы, и куда им деться. Сажать друг дружку перестали. Так это — временно. У руля те, кто полжизни прожил дрожа. Вон Хруща сняли. Сажал бы он, посадили бы и его. И — Подгорного. И — Полянского, а так — послом...

Фурцева из худшего была лучшим вариантом. И для искусства. И для евреев. Она их терпела, а некоторых — приближала. Уже дело. Сейчас на ее месте — Демичев. С истинной культурой он потихоньку кончает. Евреи при нем пока держатся, так это же не от него, это ж от нашей товарной стоимости и значимости...

А Голышников мне тогда сказал: «Людмила Георгиевна...» А ведь не сказал, что его шефы лучшую подругу Людмилы Георгиевны убрали...

У АНДРЕЯ СЕДЫХ*

Я удрал после «Вашингтонского инфаркта» на одиннадцатый день. Просто ушел из госпиталя в халате и тапочках, поймал такси и был таков.

На третий день после «выписки» раздался телефонный звонок. Звонил Юрий Сергеевич Сречинский, заместитель главного редактора Нового Русского Слова. Узнав, как здоровье, спросил не могу ли я приехать в газету. С утра. Завтра. Сперва — к нему, после — к Андрею Седых.

Назавтра к девяти утра я был в газете. В этот августовский день удушающая влажная жара началась с раннего утра. Газета тогда была бедной. Работал старенький, захлебывающийся от нагрузок и перегрузок, эйркондиционер.

Я зашел в кабинет Сречинского — махонькая клетушка. Он встал. Мне он нравился. Эдакий гусар, хотя роста невысокого. Глаза светлые, черты лица строгие, жесткие, красивые. Лицо — злое, и характер — лицу подстать. Он не принял гражданства во Франции, что стоило ему высшего образования, так как не граждане не получали стипендии. Не принял он и гражданства США, хотя уважал и любил эту страну. Он говорил мне, да и всем, наверно, говорил с гордостью, вздергивая красивую голову: «Я — гражданин Российской империи!» Я поставил восклицательный знак точно, ибо он и не говорил, а восклицал. Как-то попал я под лирическое настроение к нему в клетушку. Это было уже во время его последней болезни. Он глядел в окно, в дома закопченные глядел и говорил: «Россия. Вижу ее во сне всю жизнь. Я и прожил-то в ней всего ничего, а во сне — вижу, и все почему-то из окна: степь с ромашками и васильками... а вдали лес. Лес, как лес, степь, как степь, а — Россия!» Здесь восклицательный знак, может, и ни к чему, ибо он все это почти шептал. А восклицательный знак — в душе.

...Захожу я к нему, он встает, протягивает руку как-то неохотно. «Ну, как ваши дела? Как сердце?» — спрашивает, не глядя в глаза, а я по нему вижу — вот оно, объяснение «за Вашингтон». Я с детства не любил и даже боялся объяснений, в которых никому ничего нельзя объяснить или в которых ты кругом неправ.

— Вот тут рассказик должен вам возвратить. Ни про что. На вас непохоже. Да и не то, чтоб ни про что, а вымученно как-то. Словно не хотели писать. — Говорит и отдает мне пачку ли-

* Именно из-за этой главы разорвал А. Седых мою рукопись. Не было в ней тогда ни частушек, ни «Русской общественности», ибо я ходил, жил и писал до разрыва рукописи под цензурно-кастратным мечом Нового Русского Слова.

стков, а я думаю: «Конечно, ни про что. А про что я могу писать в антисоветской газете, когда прошусь ехать назад в СССР?» Пусть я не хотел ехать, но факты-то, факты о другом говорили.

Я его и не спросил, хам, а он мне сам сказал, что чувствует себя неважно, нехорошо себя чувствует... Это и вышло прощением нашим. Таким я его и запомнил. Такими мы друг друга и запоминаем: остающиеся — уходящих. Редко, когда остающиеся плохо поминают ушедших. По крайней мере, по-русски — редко. Это уж наше, русское: живых давить, мертвых жалеть. И искренне верить, что мы руки не приложили к гибели, хотя — прикладываем... Как еще прикладываем. И там, и здесь!

У Андрея Седых кабинетик чуть побольше, но тоже не ах, что такое, а скорей клетушка, да зверь в ней — крупен. И клетка — крупней.

Книжек у него в клетке немного. Больше справочные, но он ими редко пользуется. Имеет редкую «справочную голову», а пособие к ней — пресса. Думаю, французская. Французский у него — второй родной, а вообще догадываюсь: родных языка у него три.

Я о нем в повести много вспоминаю. По-разному. Но больше — тепло. И это — понятней понятного. Газета его, художбно, а чаще худо да бедно, но держала меня, безъязыкого, без профессии, если и не на поверхности, то на каком-то, пусть и неполном, но дыхании.

В начале моей эмиграции мы, естественно, были нужны друг другу.

Это сейчас авторами пруд пруди.

Да и сейчас нет у него авторов. Не платит.

А он бы, может, и раскошелится, да что-то держит его...

Думаю, память, а жаль. Память — не цепь, память — ложе душистое из трав пахучих, а — не горечь. Даже, если и горечь — не горечь. Но это — индивидуально. Это — от аппетита за столами, обеденным и письменным. А чековая книжка — не российская выдумка, и не понять по-русски, что соблазнительней — выписать чек или не выписать. В конце-то концов редактор — не священник. Лишний чек выписать, не грех отпустить, прости Господи...

Главное в главном: читателя уважает он по красной линии: не оскорбить бы его в религиозном или национальном плане! А что касается материалов, так где их взять каждый-то день, чтоб хорошие. Эмиграция — не океан, но остров...

Так замечу, что цены нет этому его уважению читателя в части религиозно-национальной. В конце-то концов рассказик какой или статейку можно и в книжке сыскать, и в журнале, а газета: информация и уважение (Ты меня уважаешь? А я тебя уважаю!)

И замечу, что вслед ему пойти в этой части в русской эмиграции некому.* У нас так: «Что имеем — не храним, потеряем — плачем». Будем плакать, коль потеряем. Сперва — автоматически, по себе, что вот так-то скоро и мы, а после, понявши, — по неповторимости этого жадного добряка, этого журналиста и писателя, который обладает узким кругозором и широким сердцем во всем, кроме кармана. И которому всю жизнь некогда. И эта спешка — его высоты и его низины. Будем плакать по этому русскому еврею с французским акцентом, но я его хоронить не собираюсь — он жить должен. Он, по-моему, много чего не доделал, а вот не досказал много — это точно. Может, от недостатка времени, может, от избытка дипломатии. Думаю, в последнем все дело, а как жаль. Ему есть что вспомнить, что сказать, но нынче уже нелегко ему понять, что лучший его портрет — автопортрет, который он еще может написать, который он и не пробовал писать. То — смущался, то — недооценивал себя, понимая, а то — переоценивать себя начал, но это — хорошо. Как с весов — лишнее уберет время. Правда — может и досыпать, но может и позабыть. Век двадцатый — насыщенный больно...

Я прежде в повести лишь касался, не писал. Я в этой повести вообще — касаюсь, вглубь лезть — сердца мало, это молодым, у кого скальпель в руке не дрогнет. Вот хочу только о нем, о Седых. И рискую я крупно, ибо живу я на мелочь разменно. Сами запросы-то — мелочь, так что — дипломатию по боку.

И не боюсь, что притащат ему это услужливо — набирают книжку в его типографии. Притащат и скажут: «Глядите-ка, босс, а этот-то разхамился!» (А ведь видел наперед: верно — притащили!)

Тянет Седых к сильным мира сего. Плохо? Плохо. Но кого не тянет. А меня? А вас?

Любит Седых Ростроповича. А почему? Потому надеется, вдруг — взаимно? А меня, скажем, не любит, сквозь меня смотрит. Почему? Неинтересно ему. И не нужна ему уже любовь смертных. Вышел из этого возраста. Осталась Женни.** С нею он еще на земле. А так — уже тянет в высоты.

И даже считать доходы — лень. Счет сейчас на другое. Слава, посмертное на земле — это счета требует. И учета. (Он метался и кричал, что я написал, будто он за девочками бегаёт и деньги считает! Может, и правда бегаёт и считает? Нет же дыма без огня! Да я, глядите, этого не писал, хотя бы потому, что девочек всю жизнь любил. И деньги считать, если свои, — хорошо).

Оскорбления его ранят, хотя вида он не показывает. Иногда бывает — выше, а вот когда, пойдй, угадай.

* Исключая Е. Рубина с В. Перельманом.

** Женни Грэй — жена А. Седых.

(Я о нем еще в «Тоске в области сердца» напишу. Он скроен и шит не по шаблону, он сколочен накрепко. И что нету ему продолжения — тоже непросто, хотя он думает — судьба).

Он меня стал избегать. По безразличию? Возможно, но, с другой стороны, — сидит с бесполезными старухами, точит ляды часами, а от меня шарахается, как от автобуса.

Он — не слишком скользкий, скользкий для меня. Это мне больше рассказывает, чем сиди мы, распивая чай. В беге спина на виду, а спина у него выразительная. Он мог бы стать трагиком. Когда б — не лирик. И не думал больше, чем надо, о тылах. Он Лир был бы, что надо, но лучше — Шейлок, а еще лучше, дай он себе волю и живи среди людей, — самим собой, но нельзя, ибо: кругом крокодилы, и надо держать ухо востро, — думает он.

Он — антисоветчик, но с каким дном! Как просто он пишет! Как непросто думает! Женщин любит, нынче уже, может, теоретически. Однако, единственные снаряды, пробивающие броню его самопознания и самосознания — женщины, хотя именно они — неверные, крапленые и фальшивые карты его колоды...

Дальнозорек Седых назад и вперед, а перед носом слеп, что и выдает в нем нерядового человека. Не любя суеты, суетлив, что отнимает малость от нерядового человека. Боготворит Бунину за предисловие к его книге, не понимая, что Бунин сделал ему много зла. Неумышленно. Он прежде времени похвалил, а похвалою перекрыл поиски. Чего искать, раз все найдено, обретоно, а тогда было еще не обретоно, но в ранних книжках Седыха есть страницы, грозящие способностями, но стол ресторанный, но петух в вине или что там еще. Но чек выписать... Он мне как-то: «Вы все обижаетесь, Павел Леонидович, что мало плачу вам. Ведь я получал, когда в Нью-Йорк приехал, в месяц...» и называл какую-то ерунду. Он считал мои деньги, скудные и ничтожные, платимые им, но сравнивал их, забывая про курс денег и судеб. И это — писатель?! Это — делец.

Но он «наивен». Я уверен, что он и впрямь полагает обмануть Бога, что — не делец он. Пусть Господь и люди думают: вот кто-то — делец, а я — писатель, я с Олимпа. Конечно же, кто-то — делец, но и Седых не лыком шит. Просто времени у него на это больше нет. Он и так тратит его зря. На газету. А надо — на автопортрет. И на портреты современников. Не великих, а малых, на портрет ушедшей эпохи. В виде наброска. А газета? Бог с ней. Но нет!. Не бог с ней. И в этом — Седых...

А тогда зашел к нему от Сречинского:

— Здравствуйте, Павел Леонидович, — говорит Седых, всетавая, показывая свой «рост великих», то есть невысокий, коре-

настый, толстый человек, а рост — и Ленина, и Наполеона, но — не Ленин, не Наполеон, однако, — человек незаурядный. Яркий человек. И внешняя доброта, простодушие — за счет хороших манер, за счет расчета, за счет общения прежнего с людьми большими и великими. Вот я пишу и думаю: прочтет он, ему не понравится. Он сейчас в полосе переоценки, не в смысле пересмотра, а в смысле завышения цены на себя самого. Он не понимает, что вот именно сейчас ему нужен портрет неприкрашенный. Такой, какой и войдет в историю русской зарубежной журналистики и литературы.

— Садитесь, — говорит. Я сажусь, и мы молчим. И он — не прячет глаз. Не спешит никуда. И это впервые, что он не спешит, когда я в кабинете. Моя нервозность его подавляет.

Мы молчим. Телефон звонит, он не берет трубку. И это — хуже всего, молчание.

— Давайте так, — вдруг говорит он тихонько, — как вы сами скажете, так и будет. Мне со всех сторон докладывают, говорят, предупреждают, что вы ездите в Вашингтон проситься назад. Я знаю, вы говорили о вашей жене, но сами... Как вы скажете, так и будет, — он не смотрит на меня, а — в окно, в закопченные дома. И никто не заходит к нему в кабинет. Он, видимо, предупредил.

Я рассказал, естественно, все, как есть. Он сказал: «Напишите в газете, что семейные дела... Хотя сейчас вы не можете. Не можете. Я понимаю»...

Опять молчим. Потом он говорит: «Пусть все будет, как вы хотите».

Вот в сущности и все мое увольнение с работы, где я был внештатным. И где я снова стал внештатным... И где я снова перестану быть внештатным, нынче уже по другим причинам, но нынче уже и не Седых решает, а уходит Седых. И я хочу его остановить, задержать, сказать ему теплое слово, но не могу, увы, не могу, да и уйду я, может, и раньше, но он уходит, не уходя. Возможно, он — добрый человек. Но он не русский человек. Он — не еврей. Не француз. Он — человек мира. Говорят так еще: он — космополит. Эдакий Иосиф Флавий, не написавший гимна, не написавший никакой истории, кроме своей, но его история — тоже важно, тоже листик российской истории исхода...

С ним так: не столько его не понимают, сколько он перестал понимать людей. И тому причин множество, а одна из них, главная — люди его поколения ушли. Пришли новые. Я когда-то в одной из статей «Здравствуй, Америка» написал определение нас, «третьей волны» — «Люди с другой планеты». Я написал это, между прочим, а он взял определение и ввел его в обиход, назвав свою серию статей «Люди с другой планеты».

Он не понимает нас. И не может понять, а мы не понимаем его. И почему-то обижаемся на него за это. А он — обижается на нас. Мы могли бы понять друг друга с помощью языка, но между нами — переводчик. Неграмотный наследник, который по-русски только считает. А Седых уйдет от «нашей волны» по-человечески непонятым и непонявшим. И это — жаль. Он мог бы многое дать нам. Мы могли кое-что дать ему. А так — ничего. Мы дали ему немного денег, а скорее — очень много, а он не смог нам дать ничего, кроме газеты. Хорошей? Плохой?

По крайней мере, на первом этапе — необходимой. И за это ему спасибо.

И всего, что он дал в своей жизни — помог в старости дописать Ивану Алексеевичу Бунину, помог дожить Ивану Алексеевичу Бунину. И за это ему тоже спасибо.

Седых, видимо, не помнит, но он знает одного из героев этой повести. У него Кувент был. По какому-то ерундовому вопросу. Был, думаю, он у Седых по просьбе посольства. Он вошел, тараканище, и сразу завилял, заюлил, зашустрил: «Яков Моисеевич, понимаете, у меня детей трое, мать старая, жена больная. Получаю «Вэйлфер», но мало нам, мало. Помогите найти работу за кэш...» И что-то еще в этом роде. Седых ему: «Я не участник, тем более не организатор незаконных сделок. Как вы, мол, можете и подумать такое, чтобы главный редактор помогал обманывать государство!» — Вообще-то Седых не сердился. Делал вид. Думаю, он с давней поры начал эмоции беречь.

Он мне как-то легкий спектакль устроил по поводу весьма смешному, если разобраться. Написал я рассказ. Обычный, антисоветский, но в нем была крамола для антисоветчиков: мой герой не любит советскую власть и эмигрирует. Попав в эмиграцию, понимает, что у него кишка тонка для этого дела. И заболевает. Глотать не может, есть ничего твердого не может. Его Наяна к врачу, а врач, польский еврей, говорящий по-русски. Не случай, а работа для Наяны. Психиатрия без языка — деньги швырять зря. Да-а, значит, героя моего врач приглашает пообедать на Восемьдесят шестую улицу. Там есть венский ресторан. Шницеля — с ума сойти. Уже в ресторане герой мой, выпив рюмашку, вдруг начинает есть венский шницель, но, чуть захмелев, говорит: «Я им этого никогда не прощу!» Ну, врач любопытствует: «Кому? Чего? А герой мой ляпает: «Коммунистам! Врач снова: «За что?» — «А за то, что они меня выпустили!» — Правда же, ничего особенного, ничего страшного. Есть, конечно, некая крамола, но ведь и правда жизни есть, а она иной раз дороже, важнее, а Седых мне рассказ по почте назад и записку,

что, мол, если я ваш рассказ напечатаю, читатели не вашего героя, а его сочтут сумасшедшим.

А спустя недельку приехал я в редакцию, так он, притворяющийся забывчивым, а на самом деле ничего не забывающий, в этот раз памятно устроил мне «сцену у фонтана». Это уже дело шло к моему самопризнанию, а он, видать, уже кое-что прослышал. Эмиграция — коммунальная кухня. Все про всех знают, все всем плюют в суп, даже друзьям плюют, на всякий случай, а вдруг поссоримся, а я ему уже в суп успел харкнуть. И, значит, обогнать ему меня в этом деле нельзя. Он — еще, а я — уже.

Седых мне тогда ворчал, что газета в эмиграции — дело тонкое. Каждый номер — операция на сосудах. Сообщающихся. А сообщающиеся сосуды — предтеча мафии и концернов — тогда почему-то подумал я, а после убедился. На себе. И еще предстоит убедиться.

Евреи — растворимый кофе. Растворяются в воде запросто, но делают из нее кофе. В эмиграции любой еврей — дважды и трижды растворимый кофе, а оттого любая эмиграция, хоть и русская, хоть и немецкая при Гитлере — эмиграция еврейская. Свойство растворяться и заполнять собой — свойство национальное. Помню, на меня выученик Седых обиделся: «Ты вот говоришь то-то и то-то, а в США евреи все газеты делают!» А я с ним и не спорю, ибо ноги разговора росли из кабинета Седых, а эмоции, их беречь надо. Седых одному близкому человеку сказал: «Когда Леонидов заходит, у меня ощущение — или он сам сейчас повесится или меня повесит!» Слова?

Он и мне как-то уронил между прочим: «Вас ни один хозяин в США держать не будет» — Конечно не будет. Я и не спорю. Поэтому и нахватал инфарктов, чтоб ЭсЭсАй дали.

Я, честно говоря, хозяев терпеть не могу. Это и к Седых относится. Я признал бы, доведись мне служить, хозяина, стоящего миллиард. Пусть бы мне он платил меньше других, но хозяин должен меня удивлять и подавлять. И даже не так: не он должен меня подавлять, а я сам должен подавляться им, иными словами, я все равно хочу быть независимым, а рабство признаю только добровольное, чтобы я пришел и сказал: «Вот он я, берите, надевайте ошейник, и где здесь будка? Готов служить!» Это во мне советское? Или еврейское? А, может, русское? Кто знает?

Мало, что станет меня отныне душить НРС. И «Новый Свет» будет помогать ей. И «Континент». Всех запугают. Рекламой, то есть, воздухом. Эдакий «Гад фазер» Седых, но мафия своих не трогала, а ведь я был у него в мафии. Был, но не есть.

ПЕРЕДЫШКА

Я пишу и знаю: все, что пишу — для тех, кто все знает об этом как я, а кто-то и больше. И все-таки я пишу. Зачем? А вот зачем: я пишу, чтобы знающим, но забывшим, но надеющимся на перемены там, напомнить: то, что мы оставили — мертво, а потому и при желании бессильно перемениться в лучшую сторону, а только — к догниванию, а мы должны бояться конвульсий, агоний, ибо в агонии чудовище может чуть тронуть хвостом — и конец!

А как же эта мирная, тихая, грустная природа? — спросят меня. Она ж несозвучна всему этому? А вот как. Эта природа, как танк. Когда его красят в серо-зеленый в грязнобелых отметинах цвет.

От чего я уехал? Отчего мы уехали? И к чему? Мы уехали ко всему, что тянет человека и от того, что человека отталкивает, отвращает. Деньги поехали делать?! Да, а что? Кто может, пусть делает на здоровье! Жрать клубнику поехали?! Да, конечно, а почему бы и нет, а? Я вам случай сейчас расскажу, правда, кто-то скажет: «Бойся дьявола и попутных ассоциаций!» А я не боюсь ни дьявола, ни ассоциаций. Значит, так: помните, я обещал вам рассказать об эпизоде во Дворце спорта?: год одна тысяча девятьсот, дай Бог памяти, пятьдесят седьмой. Место действия — Дворец Спорта стадиона имени товарища Ленина в Лужниках. Я — директор елочной программы во Дворце. Напомню: Леонид Ильич в то время всего лишь Председатель Президиума Верховного Совета СССР, и у него и его семьи еще не все потребности удовлетворены. И его зять тогдашний, нынче народный артист СССР, Евгений Милаев по рекомендации директора Союзгосцирка Бардиана пришел ко мне предлагать свой номер для елок. Номер для Дворца прекрасный, но стоимость огромная, а добрая-предобрая советская власть на детских елках планировала высокую прибыль. И во Дворце я за нее отвечал. Но зять Брежнева! И Бардиан! И «купил» я этот номер у цирка, а Милаев, я тогда подсчитал, вместе с родственниками, получил за четырнадцать дней (по две-четыре елки в день) тысяч тридцать. А в первый день его выступления захожу я в артистическую уборную после первой елки — эту самую большую уборную я выделил для семьи Милаева и акробатов Степановых — и вижу: вокруг здорового стола сидит милаевская семья, а на столе лежат яства, каких я прежде в глаза не видел, а посреди стола и зимы — штук десять крупных, почти как арбузы, сияющих помидоров. А у стенки стоит пятерка Степановых и глотает слюну. Я вызвал Милаева в коридор и сказал ему: «Женя, понимаете, этого делать нельзя. Пусть цирк даст вам «Рафик», и езжайте вы домой с

этими яствами. А то получается какая-то ерундистика!» И он стал ездить домой. Степановы — русские. И они там — а я — здесь. И помню отчетливо эту картину: красные, крупные помидоры зимой, в январе, рыба, мясо, колбасы, и никакого стеснения у жрущих, считающих, что все верно в этом лучшем из миров...

...И под Омском, примерно, в те годы, «картинка с выставки»: зима, «Дом колхозника», утро, огромная спальня, для мужчин и женщин вместе, все пьют кипяток с хлебом, а одна бабка достает из чистой тряпочки кусок сала. Отрезает кусочек и видит, как все невольно глядят на это сало. И она отрезает его пластинками тонкими и раздает всё. И, отдав последнему, обнаруживает, что себе не оставила. Грустно улыбается и принимается за хлеб и кипяток. А у меня была колбаса сухая. Грамм двести. Я отрезал половину и положил ей на тряпочку, а она поглядела на меня и заплакала, тихо-тихо.

Чего она заплакала?

...И от жалости к ней я уехал. А вы? Думаю, многие из вас — тоже. Горький брякнул среди прочего: «Не унижайте человека жалостью». Чушь и свиньячья собачатина, почище «врагов, которых уничтожать надо». Как это — не жалеть человека?! Да кого ж тогда жалеть, как не человека, рождающегося в муках, но и всю жизнь живущего в страхе и горестях на этой бескрайней и печальной русской земле?!

«БЛЯХА-МУХА»

Есть такое нецензурное выражение. Производное. Оно — вне ругательного словаря даже. И вполне беззлобное. Оно — не восклицание, не уточнение, не восхищение, не отрицание, не оскорбление.

Оно нечто вроде междометия, когда нет сил ни злиться, ни радоваться, когда все до фени, до фонаря, до лампочки. Оно — не окрашено, это выражение. Почти.

Когда небо валится на Россию, она отталкивает его и ворчит: «Ну, что ты, бляха-муха, валишься? Виси себе, где положено, бляха-муха».

И, наверно, бляха-муха, Россию ни в каком виде нельзя вывозить из-под русского неба. Разве что в виде нефти, самолетов, танков и ракет, как прежде вывозили в виде пеньки, леса, зерна и дегтя.

Вон Илья Григорьевич Эренбург подарил ростки русской клубники одному американцу. Приехал в США. Зашел к нему в гости и увидел в саду огромную клубнику. Американец говорит: «Ваша клубника!»

Ягода стала гораздо крупней, но лишилась тонкого своего аромата.

А человек — не клубника. И будучи вывезенным или выехавшим — не меняется. За редчайшими исключениями. Я не знаю, представители других наций меняются или не меняются в эмиграции. Может, и все — так?

Увы, но мы не лишаемся нигде своего аромата. Мы благоухаем за тридевять земель. В нас, выходях из России, Россия крообращается остро и остается до гробовой доски. И только дети наши сбросят груз этот, но многие в надежде на перемены там продолжают и в детей вколачивать Россию через язык — полбеды, — через собственную ностальгию, через ненависть к поработителям — ненависть заразна и родственна, как известно, любви...

... В 1975 году, как я писал, многие хотели назад. С перепуга, с перелеха, с перегрева.

А мне Александр Александрович сказал: «Да, усилие свои позиции. Напишите друзьям. Весомым. Пусть походят, похлопочут». Я ему: «А их за это за зад не возьмут?» «Ну, вот вы снова за свое. Не верите, не надо, а напишите таким, кого не возьмут за зад. Вы ж таких знаете?» В принципе я таких знаю. Знал. Но есть ли кто в СССР, кого за зад не могут взять? Сейчас, пока есть. А после? И писать я отказался, но у А. А. были ко мне обходные пути через дом мой брайтоновский.

Пришлось писать. Выбрал я пятерых. Текст — идентичный. Написал на маленьких картонках. С обратной стороны картонки были черные

Начал с Никиты Богословского. Он — стукач. Однако у нас с ним не на песенной почве, а на книжной, были отношения лет тридцать. Нас Леонид Захарович Трауберг свел.

Далее написал я четверым:

Володе Высоцкому

Академику Эдуарду Григолюку

Евгению Евтушенко

Иосифу Кобзону

А после дописал еще и Георгию Мосолову, учителю космонавтов, знаменитому летчику-испытателю.

Всем написал по четыре слова. Во избежание подвохов. И чистое место прочертил, как на чеке. Хотя им свести чернила — плюнуть.

Всех, кому написал, по тем временам и близко тронуть не могли. Не имело смысла. А что общались мы, так об этом так и так знали все, кому не надо. Написал я: «Хочу на родину. Помоги!» И, конечно, подписал.

Думал: передали писульки. И там, кроме недоумения, жалости, а может, и презрения, — ничего.

Прошли годы. Был здесь Евтушенко. Не позвонил. С Лимоновым пил, а мне не позвонил. Загрустил я: может, и впрямь время Лимонова? У Евтушенко нюх, как у гончей. После выяснил подробности. Нет, слава Богу, просто совпало. А рад, не потому, что к Лимонову что-то имею, а просто талантливый Лимонов человек, но не там себя ищет. Конечно, «авангард» — это как «казаки-разбойники». Прятаться за него легко. А если еще снять штаны при всем честном народе — вообще здорово. Почти все отвернутся... Вот тоже аспект русского. И на весах — Эдичка и Русское, проза-поэзия, бляха-муха. Да, так прошли годы, и всплыл неожиданно-негаданно в Нью-Йорке Высоцкий. И тут выяснилось, что никакой записки он не получал. Прибыл Кобзон — не получал. И про Мосолова сказал Кобзон — не получал Мосолов.

Неужто А. А. нуждался в моих автографах?

Нет, думаю не нуждался, а просто в КГБ выработалось с годами правило, в основу которого они положили: «Бьют — беги, дают — бери». Послесталинская Россия, решившая чуток ослабить петлю, дала им эдакий шанс. Сейчас-то снова удавку набросили...

Вот не знаю почему, но все время подмывает меня, говоря в этой повести о нас, о России и об эмиграции, поговорить о Галиче. Еврей, впавший в православие, он был истошно русским. Почти как Володя Высоцкий. Нет, гораздо меньшим, и все же...

Что в нем было еврейского? Проникновенная, пронизательная, провидческая русскость. Что в нем было русского? Созвучие всему от людей, нравов, обычаев и природы до бесшабашности, разухабистости, комплекса потерянности, запуганности, виноватости и вразрез им — отчаянности и безумной отваги и еврейского врастания в небо и в землю, когда до звезд — рукой достать, а земля — часть тебя самого...

Сейчас напишу крамолу. Ну, кто-то же должен сказать. Это — подозрение. Этому оснований нет. И есть. Фактов нет. И есть. Смысла нет. И есть.

15 декабря схватился Саша голой, мокрой рукой за какую-то железку в радиоприемнике «Грюндик». И был убит... Что это? (Сейчас пустили версию — в ванной электробритвой брился?).

Галич обожал радиоаппаратуру и покупал самые различные заграничные модели лет двадцать-тридцать. Скорее, тридцать. Он мог что угодно из «радиодел» собрать, разобрать, починить, поломать. Он почти профессионалом был со всеми этими радиоштуковинами. И вдруг — голой, мокрой рукой за подключенный к электросети металл!

... Да, надо знать Сашу Галича.

Познакомил я его лет двадцать назад с одним доктором.

Звали, да и зовут доктора, Юра Буров. Русский чужак. Оригинал. Пыляевский тип. Служил Юра в больнице Железнодорожников. Об этой больнице писать книгу надо: кто ее строил, зачем, почему? Кто в ней лежал и лежит, зачем, почему? И т.д.

Буров работал и работает, наверно, в отделении, где диабетиков и толстяков приводят в норму. Я точно даже и не знаю, что за профиль отделения, но помню, как позвонил мне друг мой бывший Миша Танич, поэт добротный, а песенник — потрясающий («Текстильный городок», «Любовь-кольцо», «Как тебе слухится?») и сотни других. Пожалуй, ряд его песен, прошедших кино и радиоцензуру — почти бардовские. По темам, по тоске, по безысходности...) и сказал: слушай, можешь ты Сашу Галича куда-нибудь в приличную больничку сунуть? Я сказал, что могу, конечно, но почему мне сам он не позвонил, спросил. А черт его знает, — сказал Миша и добавил, что даст Галичу мой телефон. Дал. Галич позвонил. Поговорили. Вспомнили три наших первых встречи. Для меня — проходных, для него жизненнорешающих, решивших его жизнь. Может, и смерть. Встречи у композитора Марка Фрадкина в Каретном ряду. Там родился Александр Галич — поэт и бард. И там же скончался драматург, дописавшийся до сценария «Государственный преступник» — о миловидном, педарастическом плане, работнике КГБ, ловящем человека из Прибалтики, не желавшего быть рабом Советской России. Саша его сделал убийцей. И дальше этот «Государственный преступник» мог увести автора черт-те в какие дебри, но тут, зревший протест вылился нечаянно в «Спрашивают мальчики». И — пошло. Было кое-что и до «Спрашивают мальчики», но оно лежало и молчало, а «Мальчики» натолкнулись на цензурный оскал, петлю, аркан и вызвали реакцию отпора, протеста, сопротивления и атаки. Но об этом — в другой раз...

Положил я Сашу в больницу Железнодорожников. Лечил его Юра. Были там врачи и получше, но лучше человека там не было. И вообще — лучше, чем Юра, людей, увы, мало, а может, — и нет лучше, ибо лучше — не надо. У Юры была жена, Алла Пыляевская, — подстать мужу: любила поэзию, песни, людей ярких, хотя и она и Юра были яркими людьми лишь в одном — — любили настоящих, одаренных, талантливых людей. И всю зарплату до копейки, детей у них не было, тратили на ... ужины. Они звали одного «генерала» от поэзии и приглашали всех знакомых и малознакомых. Их не слишком тесная квартира иногда набивалась до таких пределов, когда начинали трещать стены и гудеть потолок. И после больницы Сашу затащили раз в эту квартиру. И — пошло. Я был несколько раз на этих встречах.

У Фрадкина, у Богословского, у Танича в компаниях понять суть Галича было нельзя. Только в компаниях, где глядели ему в

рот, где не просто понимали беду, которую он пел, а сами в ней тонули — возникал истинный, настоящий Галич...

Он страшно торопился в подобных компаниях быстро-быстро напиться до нормы и взять в руки гитару. И таково было его всемогущество, что недопившие и недоевшие люди, бросали еду и стопки и, открыв рот, слушали до двух-трех часов ночи. А порою — до утра... Саша усаживался в угол дивана, брал гитару, закрывал глаза. Наверно, как у всех сильно рванувших, в голове у него при плотно закрытых глазах, мир крутился бешено, а после он открывал их, и все, покачиваясь, вставало на свои места... Он брал аккорд и начинал говорком, вроде как бы и между прочим, рассказывать про товарищ Парамонову...

У него красок было меньше, чем у Высоцкого, палитра была скромней, скучней, но одно у него было — отсутствие красок создавало потрясающе унылый, серый-серый тон, фон. Его песни ленинградски дождили, бесконечно, беспробудно, безнадежно, но я — не о песнях, а — о нем...

Он жил в последнее десятилетие своей российской жизни в компаниях, где можно было петь: пьян, не пьян, а был он зорок, когда пел впервые новую песню. Глядел во всю, выверял, проверял, взвешивал, отмеривал, отмечал впечатления. Высоцкий практически ничего не переделывал. Володя — стихия, ураган, а ураган не может вернуться назад и подправить разрушенное. Саша работал изнурительно. Саша почитал Слово, Володя сам был Словом, сказанным Россией, охмелевшей от передышки.

Помню, в одной простецкой компании, куда затащил меня Х, мы «нашли» Галича пьяного, держащего речь, а не певшего песни (?!). Оказалось — разбил пьяный гитару. (Тут, уже в эмиграции, читаю в НРС, что Галич забыл в Мюнхене или в Париже, не помню, гитару, и просил дать ему гитару на прокат). Володя, тот гитару вечно забывал, а Саша — никогда. А на третий день сидели мы с ним в забегаловке на углу 57-й и Шестой авеню возле Корнеги Холл, и он мне сказал, что какой-то грузин русский разбил его гитару перед самым отъездом. По пьяни разбил.

Да, так нашли мы Сашу где-то на Метростроевской в переулке. Выволокли его из ресторана Дома ученых совсем незнакомые ему люди и притащили. Он был с гитарой и сразу стал петь. Спел про Ленинград, про камушек, про шоферюгу, про селедочки, и тут какой-то человек выхватил у него гитару, плача, ударил ее об угол шкафа. Разбил, крича, что это подло, надирать душу, когда ничего нельзя поделать все равно. Пьяного выбросили, избив, но Галич сказал, что зря, что черт с ней, с гитарой, а он, раз уж он здесь, будет говорить, но, увы, говорил он не как Галич-поэт и бард, а как Галич драматург и не автор «Вас

вызывает Таймыр» даже, а как создатель «Верных друзей»: никаких мыслей оригинальных... Видно, мог он думать высоко, смело и мудро только в форме поэзии. Это в нем был несостоявшийся актер: ему был нужен автор Галич, композитор Галич, борец Галич, мыслитель Галич, и тогда актер Галич, рванув для «настрою души», мог петь-говорить свои истории... Чем банальней история его, тем трагичней. Тем страшней. Его сардельки и селедки, его нормальные сумасшедшие и сумасшедшие нормальные, его начальники, палачи, рабочие вырваны из одного мрака и подставлены под секущий луч прожектора...

«О покойниках плохо не говорят». Это — правда. Но о великих покойниках можно говорить все, а значит, и — плохое, ибо все важно в познании их самих и их творчества...

У Галича вышла история с географией в городе Мюнхене. Жена, больная, без зубов, растерянная и потерянная попала в больницу. А у него как раз случилось назначение в Париж корреспондентом радио «Свобода» и — любовница-израильтянка. Молоденькая, смазливая. Приехал муж ее, избил Сашу, но Саша увез зазнобу в Париж. Вышла из больницы жена, голову ей преклонить негде. Сдал Галич квартиру. Попала жена Галича к хорошим и добрым людям с радиостанции «Свобода». Они ее приютили, пригрели. И стала эта история известна в Вашингтоне. Оттуда немекнули интеллигентно Саше, что он должен поправить положение, а рассказывая я это не из-за Саши, ибо с кем не бывает приступов влюбленности или желания безумного, а — из-за жены. Ее поведение в этой истории объясняет и Галича, и Россию, и русскую женщину, пусть она еврейка или армянка, лишь бы рождена была под русским небом...

Сашина жена, узнав, что сообщили о ней в Вашингтон и что у Саши могут быть неприятности, тихонько заплакала и стала причитать тем, кто пригрел ее, что — не надо было никому ничего говорить, что теперь у Саши могут быть неприятности, а он — хороший, и его тоже надо понять, ведь она старая, беззубая, больная, а он — мужчина в соку, и ему жить надо, ему допинги нужны, чтобы писать...

Ее не было дома, когда он погиб.

Высоцкий погиб, схватившись за оголенный нерв России, Галич — за оголенный провод приемника *мокрой* рукой, хотя даже и школьники младших классов знают, что нельзя и близко трогать хоть что-то под током мокрой рукой...

Он мне говорил на углу 57-ой, что на весь мир у него и трех компаний нет, где он мог бы хоть кому-то рассказать, чтоб возникла от контакта российская атмосфера. Он говорил, что в его деле запретность плода, видно, играла решающую роль. А здесь всем все было скучно, а для него интерес в глазах слушателей

был воздухом. И он постепенно начинал задыхаться. Так и вижу, как на меня обрушатся. А мне плевать. Я стою на точке зрения, что Сахаров, Солженицын, Галич и Высоцкий и им подобные должны жить в России.

Они без России и Россия без них, как Ромео и Джульетта, делающие детей по телефону. Россия может хоть что-то дать миру сама по себе, а основное — только через подобных людей, но при условии, что они, эти личности — мученики. Христианская Европа и Америка верят только мученикам. И то — не слишком. А потом: ну, кто из них счастлив на Западе? Никто!

Высоцкий хотел жить в Нью-Йорке, но изнурительно искал модус, как сделать так, чтобы жить в Нью-Йорке и в России одновременно. Хотя бы, как Спасский. Вырви Высоцкого из России безвозвратно, как Галича, и — все! Конец...

Русские по духу меня поймут. Потому что можно многое отринуть, но не духовное. Уже меняют сердца, но никогда не научатся менять души. Бог этого не допустит, ибо душа и есть ось нашего бытия и сознания.

В тот раз, выйдя в час ночи из забегаловки, мы расцеловались. Саша, по-моему, еще раз после того был в Нью-Йорке, но мы не повидались. Я был в очередной раз в больнице, а он то ли не знал, то ли не было у него времени. Не знаю, но тот разговор в забегаловке был тоскливый и путанный, страшно противоречивый и страшно трезвый, хотя он пил до и во время...

Очень это тяжело — предполагать, подозревать, домысливать, что нас забивает в лузу тоска, но утешает, что не мы — первые, не мы — последние из России...

Я лежал в «Есенинской палате» корсаковской клиники. Пришел зав. отделением профессор Баншиков. Грузно сел на белый стул. Помолчал, потом сказал: «У нас лежал Павел Орленев. Был безумен совершенно. Незалеченный сифилис. Как у Владимира Ильича. Так Орленев пару раз в год вдруг становился просветленным и читал Алексея Константиновича Толстого ге-ни-аль-но! Монолог царя Федора Иоанновича. И не один монолог, а всю роль... Знаете, студенты мхатовские дежурили, ждали: вдруг поймают. Иногда кое-кому везло. Как он шепотом говорил: «Он согласился, что я — царь... Теперь он цыц!» А это: «Уж эти мне доносы!» и по поводу того, что слушать он готов, а не слушаться, да и вообще все — ге-ни-аль-но! И Толстой — ге-ни-аль-но! Дьявольски гениальная фамилия. «Уж эти мне доносы!», а?! А мы еще валим все на коммунистов. Нет, батенька, тут еще русский дух, бляха-муха!..»

Он ушел, а я обалдело глядел в его широченную свинцовую спину, обтянутую белым халатом. Интеллигент, друг Корсакова, профессор, зав. кафедрой и — «бляха-муха!»

И, обалдело думая об этом, я как-то не подумал, что и он, профессор Банщиков, родился и живет в мизерном зазоре между российским небом и российской землей. И Галич — жил. И — Высоцкий. И — все мы... Этот узкий зазор давит нас, но и касается нас родимой землей и родимым небом. И на кого-то опускается благодать. На кого-то — нет. Думаю я об этом и торчат передо мной оголенные, никелированные концы и рука, поросшая черным, посеревшим волосом, влажная, но не дрогнувшая рука, стискивающая изо всех сил концы под током. Я вижу это и грустно говорю: «Бляха-муха! Какой человек перестал петь Россию»...

БАРЬЕРЫ

Вообще — пишущая братия — дело непростое. Она рванула от цензуры, а, кроме А. Солженицына, никто от нее не освободился. Пусть другая тут цензура, но все равно же — «намордник», «надушник», «намыслник». И, если честно, Довлатов куда противней редактора Политиздата Аллы Пастуховой, второй жены Юры Трифонова. Алла — краснощекая, прелесть, умница, чуть занудная по поводу вечных своих болячек, которых нет, но она же — *редактор!*

К кому мои претензии? К США? Так это ж глупо и не верно. Может, и в США редакторская диктатура, но мы ее не ощущаем, а ощущаем нашу родную, многовековую, русскую...

Каждый прибывающий в США эмигрант, даже знающий язык, так или иначе хоть краешком своей биографии успевает столкнуться с барьером, поставленным в Нью-Йорке каждой нацией для своих, прибывающих в страну, соплеменников. Тяжелее всех с этим барьером нам — российским евреям или еврейским русским. У нас — двойной барьер, который без языка не перепрыгнуть, а интеллигентам от литературы и вовек.

Американские евреи, на мой взгляд, делятся в вопросе, о котором речь, на две части: на тех, кто дает деньги, чтобы адаптировать евреев в стране, и на тех, кто хочет на приехавших соплеменниках крупно заработать. Вторые стоят, как на пути вновь приехавших, так и на пути первых, усложняя задачу адаптации. Вторые ведут себя антиеврейски и антиамерикански. И это — плохо. Я не стану приводить примеров. Их множество. Этот бизнес с соплеменниками зловещ.

Мне рассказала одна женщина, одна из первых осваивавших Квинс. Район Джексон Хайтс. «...Понимаете, мне хозяин, свой же еврей, уехавший из России в 1956 году, платит доллар в

час, а кругом платят два пятьдесят. У меня языка, правда, почти нет, но я выполняю такую примитивную работу, что ее даже дрессированная слониха вполне может выполнять... Мне так обидно. Он всегда стоит возле уборной, когда я туда иду. Вы уж меня простите за натурализм, но когда случается мне пойти во время работы по большой нужде, он стоит под дверью. С часами в руке. И выговаривает мне. И решила я — вернусь назад. Провались оно все пропадом!..»

Она не вернулась. Ее не пустили. И сейчас она счастлива. И даже — сама хозяйка. Мы с ней встречаемся. Я ей напоминаю те времена и интересуюсь: сколько же она платит своим сотрудникам. Она смеется, увильивает от ответа, а я ручаюсь: платит меньше своим, хотя под дверями уборной наверняка не стоит...

Виктор Шульман, окончивший, живя в СССР в «Тютюшках», и Свердловскую, и Московскую консерватории за три года — обе, случайно, получив от нашего эмигранта из ФРГ гастроли по США Володи Высоцкого, решил разом разбогатеть. Я это только приветствую. Я люблю, когда наши эмигранты богатеют. Хотя бы на зло врагам*. Но Шульман предложил Высоцкому так мало, что стыдно писать. Нашлись добрые люди, посоветовали Володе, как получить у Шульмана то, что следует.

Прибыл в Нью-Йорк уже не советский, а наш еврей Борис Сичкин. Шульман в первый же час его пребывания на американской земле предложил ему контракт — двадцать концертов по США, а под расчет — гостиница и питание. Долларов — ноль. Я Сичкина, который рвался на сцену, еле отговорил. Но Шульман — молодец. Он подкараулил Сичкина и лихо использовал желание Бориса побывать в Израиле. И Витя отвез Борю в Израиль «за помидоры, хлеб и хлев для ночлега», заработав на этом кучу денег. Это — США? Нет. Это барьер в США? Да. Кому он на руку? Правительству США?

**ВИКТОР ШУЛЬМАН МИЛЛИОН
СГРЕБ. ЖИВЕТ НА ВЗМОРЬЕ,
ПОТОМУ ЧТО КОНЧИЛ ОН
В ДВЕ КОНСЕРВАТОРИИ.**

* Володя жаловался на концерте в Торонто, что его ограбили в Нью-Йорке. Шульман использовал простую, доступную в СССР технику: сунул актеру под нос микрофон, включенный в звукозаписывающую аппаратуру. И так выпустил ньюйоркский концерт — пластинкой.

Впрочем, я не сужу Шульмана. Я просто размышляю над вопросом барьеров, которые ставят бизнесмены своим же соотечественникам, «не пуская» их в США.

Бизнес — дело жесткое и жестокое. Ему противопоказаны сентименты. Сейчас в Нью-Йорке много бизнесменов из нашей эмиграции. В разных областях, но всех их роднит одна штука. Все они творят американский бизнес, используя на полную катушку русскую психологию страха: «Не успеть! Быть уличенными! Скорей-скорей!»

Наши занимаются бизнесом, как мечут стос. Азартно, прямолинейно и нагло. Иной раз глядишь на этих бизнесменов и никак не можешь понять: то ли они строят Россию в Америке, то ли Америку — в России.

Советская закомплексованность дает себя знать. Конечно, любой бизнес построен в какой-то мере на обмане, если он, этот бизнес — российский. Да, и американский мелкий бизнес без обмана не обходится. Но у наших страх перед ОБХСС продолжает ворочаться в подкорке, принимая иногда причудливые формы. Я не сравниваю, избави Бог, но Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти лет восемь назад рассказала мне об одном случае в Риме. Ее позвали в главное полицейское управление Рима и упросили перевести беседу то ли следователя, то ли судьи с несколькими нашими магазинными ворами. Суть беседы свелась к тому, что наши родные советские карманники оказались страшно разобиженными на римскую полицию: «У вас же свобода!» — негодовали они, не понимая, что воровать и в свободном мире нехорошо. Кстати, они были милыми ребятами, милыми жуликами, направлявшимися в страну О'Генри.

Всю жизнь бегать от ОБХСС, а потом вдруг оказаться без него, всю жизнь строить бизнес на том, что все — дефицит, что продать и дурак может. И вдруг все — вверх тормашками!

Объективно говоря, Виктор Шульман, оказался свободным от многих советских комплексов. И потому, видимо, преуспевает. Однако у него закомплексованность в другом. Он почему-то полагает, что его «университеты» что-то ему прибавляют, и путает от этого консерватории, которые он то ли кончил, то ли нет. Я-то думаю: зачем ему консерватории при эдакой трудоспособности, энергии, напористости и других качествах, делающих бизнесмена?

Другим путем идет «Руссика» — книжный магазин и издательство. Там любопытный альянс советского еврея с американским евреем, и, надо сказать, что вне бумажных и прочих юридических дел, советский еврей Кухарец дает сто очков форы американцу Дэвиду, но и они оба ведут себя по отношению к сотруди-никам, нашим эмигрантам, значительно верней, чем Шульман.

Они орудуют в русской среде, но уже давно американизировавшейся, то есть они, а, главным образом, Кухарец, способны уже вести дела практически с американцами.

«Вышел на США» и Кислин.

ПОКАМЕСТ, В ЕБЛЕ ЗЕЛЕНА,
НЕУЧЕНАЯ МАМОЮ,
КУПЛЮ ТИ ВИ У КИСЛИНА
С УЧЕБНОЮ ПРОГРАММОЮ

Русских бизнесов много, и о них можно говорить долго, но, по-моему, этого делать не надо. Шульман ставит барьеры эмигрантам из СССР, и это — плохо. «Руссика» делает то же в меньшей степени, и это — лучше.

В принципе весь или почти весь эмигрантский бизнес возрастает на ниве Нового Русского Слова, где начинающие бизнесмены получают уроки. В НРС сейчас два полюса. Объективно — оба мафиозных в общих чертах, но полезных — в деталях. В кабинете менеджера даются уроки жесткости, напора, расчета и идеологической беспринципности, что хорошо для мелкого бизнеса. Но уж больно сразу, с ходу и без персонального учета психологии клиента это делается.

В другом кабинете, редакторском, — другое. Редактор совершенно не понимает нас, а в ответ на наши попытки понять его, гневается. Он не понимает, что он — теоретик наших мытарств там. Всего лишь теоретик. Он не понимает, что теоретики хороши лишь в точных науках. Ну, что стоит, скажем, теоретик — дрессировщик хищников. Он стоит не больше, чем весит, а весит он, допустим, сто восемьдесят пять фунтов свежего мяса, которым он и является для льва, когда входит к нему в клетку со своими теоретическими познаниями. Разве ж не так?

Да, и в литературных делах с редактором не просто. Он как-то в разговоре со мной говорит: «Нам Аксенов очень нужен. Но «дерьмо» из его рассказа я изъял!» Я ему: «А почему Гладилину «курву» оставили?» Он помялся секунду, пожевал губы, нашелся: «А «курва» литературное слово, вот!» Я ему: «Ну, не литературней же «дерьма»?» Он мне: «Литературней!».

Что это? Разговор двух сумасшедших? Нет, это разговор двух русских. Только один стоит на крыше, другой — на земле. Они переговариваются. Кто — на крыше, кто — на земле, — неважно, и не знаю. Не знаю, что лучше, — на крыше, на земле ли, но знаю — мы не слышим друг друга, и лишь приблизительно догадываемся, кто из нас про что говорит. В общих чертах...

И Седых живет на Западе более шестидесяти лет, а сколько в нем российского? Ужас. Полно. А иногда, так через край, а вот около восьми лет назад приехал в Нью-Йорк человек, совсем еще молодой, — Юра Радзиевский, и открылось, например, для меня на третий или четвертый месяц его пребывания на Западе, что он — американец. Мы с ним пять слов сказали, а для меня так и этих пяти слов не надо было. Я его видел по телевидению в СССР. Он был капитаном команды КВН из города Риги. Какой-то институт команда представляла. По-моему, институт гражданской авиации. Он и тогда, до эмиграции выглядел кем угодно, только не советским инженером. Я не хочу здесь обидеть советских инженеров. Избави Бог. Это — труженики. И чаще — великолепные инженеры, которые, несмотря на убогость того, с чем они имели дело, приехав сюда, очень быстро догнали американских специалистов. Порою и обгоняют, но все равно и за восемь лет американский костюм сидит на них, как мосгоршвеевский, а на Радзиевском — москвошвеевский сидит, как парижский. И костюм — деталь, но и все остальное вплоть до психологии «сидит на нем в Штатах, как парижский костюм». Он — жесткий бизнесмен, но он начал с нуля, а сейчас стоит во главе фирмы, расположенной на углу Пятой авеню и сорок третьей улицы. На девятом этаже дома 516. У него работают много людей, но лишь двое русских. И не потому, что он не хочет брать своих, а потому, что ему нужны свои, а свои для него те, кто плавают на Западе, как рыбы в воде, как он сам. Один из двоих — она, Тамара Нисневич, и она работает на многих языках или с многими языками. Второй из них — опять она. Лена Шаламова, жена моего приятеля Юры. Лена — директор отдела славянских и восточных языков. Вот так. А больше никого из наших нет, хотя, видимо, есть переводчики. Один, два, три. Юрина компания называется «EurAmerica Translations, Inc.».

Тут, в Нью-Йорке, проживает мой знакомый Александр Генис, доцент того самого рижского института, где учился Юра. И он мне говорил, что Юра мог бы стать способным инженером в Штатах. А почему не стал?

Хотел заработать миллион или много миллионов? Конечно. Не хотел работать на дядю? Безусловно. Значит, все ясно? Ни в коем случае. Все не хотят работать на дядю, все хотят зарабатывать миллионы, но не все за восемь лет имеют компании, где переводят на более чем сорок языков. И — где платят по-американски всем.

Еврейская ментальность? У всех еврейская ментальность. Генетика? У всех генетика, а конкретная, направленная на, скажем, бизнес — у многих, а Радзиевский — один. По крайней мере, в Нью-Йорке.

Вот я задаю вопросы, и вы думаете, что я знаю ответ на вопрос: «Почему Юра приехал в США готовым американцем?» Я не знаю ответа на этот вопрос. И, думаю, сам Юра — тоже. Да, и нужен ли ответ. По-моему, ответ в существовании фирмы, ответ в способе мыслить. Я не знаю, может, это — американское, ходячее, но мне сказал несколько лет назад через переводчика хозяин журнала «Тайм», что быть босом, бизнесменом это — целую и каждую неделю играть в гольф, и лишь иногда забегать «в лавку». Юра нашему общему приятелю сказал то же самое, а он не знаком с мистером Люсом. Одно утешение — может, это и впрямь — ходячее выражение. Потому что мистер Люс не еврей, а значит, это — не способ мыслить. И тогда, возможно, это — способ существовать так, а не иначе.

Эта глава в повести чужеродна?

Я думаю, что так только кажется.

Советские мы или не советские? Те, кто приехали восемьдесят лет назад, и те, кто — совсем недавно? Как это проверить? Для самих себя. Как это выяснить и уточнить? Есть ли лакмусовая бумажка, на которой это можно выявить? Оказывается, есть — религия. Если в момент пересечения границы или несколько позднее мы задумались над вопросом Веры и Бога, тогда все в порядке, и труды Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева и их аппаратов остались пустыми хлопотами, а вот если мы не задумались?

Не более трех процентов, прибывших в США, приняли ту или иную религию. А я думаю, что значительно менее трех процентов стали иудеями, православными или баптистами. Не ответ ли это на вопрос: «Кто же мы?» Да, мы ненавидим советскую власть почти поголовно. Да, мы говорим: «А за что ее любить?!» И мы в то же самое время заражены многим, чем она нас заражала всю нашу жизнь.

Вот говорят: «Смотрите, как быстро эмиграция встает на ноги! Врачи! Сдают экзамены и нынче, накопив опыт, будут сдавать быстрее и быстрее. Нынче врачи те, кому под пятьдесят, а иногда и больше, — сдают с первой, ну, со второй попытки. Инженеры «нашли ключики» и почти с ходу устраиваются. И так далее. Но освобождают ли все эти победы и успехи нашу эмиграцию от советскости? Нет.

Нынче развивается несколько типично советских скандалов в среде инвалидов войны. Почему именно у них? Да потому, что они по возрасту «самая советская группа, хоть чем-то объединенная». Да и не чем-то, а пролитой кровью, а землей, на которой родились и полили той же кровью. И общими корыстными интересами объединены, уж, казалось бы, чем не самый прочный фундамент, но нет, фундаменты все до одного гнилые

те, где замешано советское.

Американцы тоже занимаются злоупотреблениями.

Но нам — на чужбине, в стране, которую нужно и можно воспринимать как родную? Может, у инвалидов и злоупотреблений нет, а есть лишь одно, непоправимое: люди, допущенные к делу благородному и справедливому, не оправдали доверия. В связи с тем, что допустили скандал, ибо нет у них, нет у нас Бога... Мы, как собираемся вместе, — пауки в банке. Это — и от еврейского, и от русского, но более всего — от советского.

Совершилось, произошло жуткое преступление. Убили Шеллу и ее сына Славика Шахнис. И вот эмиграция выдерживает проверку, собрав шестьдесят три тысячи долларов уцелевшему сыну Шеллы, Игорю. Это — нечто новое, несоветское, а американское, западное. Это еще не благотворительность, но уже сочувствие. Вот только вопрос — кому? Мне один сказал, отправляя 50 долларов: «Все под этим ходим. Нынче ее сыну надо, а завтра — моему». Такая философия плохая? Нет, вполне приемлемая. Ибо она — уже шаг в сторону от равнодушия. С этой философией легче жить и не тосковать по брошенной родине.

РАЙ ТАМ — БРАЙТОН!

Операция «Возвращение» была рассчитана на других людей. Не на тех, кто собрал деньги Игорю, а на тех, кто устроил скандал у инвалидов. Я в этом скандале никого винить поименно не хочу, ибо здесь поименно никто и не виноват. Наша общая нетерпимость виновата...

Мы потихоньку пробуем уходить от себя. Стараемся не шуметь, уходя, встаем и движемся на цыпочках, но не всегда получается тихо...

И жены уходят. И — мужья. Это плохо? Да! И — нет, ибо уходят в поиск, чаще всего самих себя, потерянных и затерянных «на просторах родины чудесной». Находят себя? Да, но не всегда радует нас нахождение самих себя. Мы, найдя себя, обнаруживаем новых, часто злых людей. Но признаваться в этом не легко, и тут мы виним весь мир...

Я стараюсь наблюдать со стороны. Не потому, что я — хороший, что я — лучше других, а потому, что мне интересно. Наблюдая других, постигаю себя. Выворачивая наизнанку других, выворачиваю себя. Ну, нет у меня южного акцента. Ну, может, манеры у меня получше. Ну, что еще? А сколько зато во мне другого — жуть, ужас... Мне мать Кувента говорила: «Мы все

— одинаковые. Не лицом, не походкой, а — нутром. Мы с гор, вы с Москвы, а разница?» Я ей ответил, что ее сын любит усы, а я — нет. Она мне: «Усы-то можно сбрить, а все ваши замашки, всю вашу заразу нынешнюю — не сбрить, не выскоблить, не сжечь...» Я тогда вспомнил: кажется, у Зошенко есть рассказ о том, как бороться с мозолями. Там говорится, что есть одно средство: «Натереть ногу керосином, поджечь, все сгорит, а мозоль останется». Ох, не про нас ли сие?

Нет, не про нас. Когда б про нас, сидели б в России и ждали у моря погоды, ждали бы, когда обольют нас керосином и подожгут. Дело-то к тому идет...

**Я ТЕПЕРЬ ЖИВУ У КВИНСЕ,
ИГДЕ КИОСКИ С ПРЕССОЮ,
БРАЙТОН БИЧ, ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОДВИНЬСЯ
СО СВОЕЙ ОДЕССОЮ**

На Брайтоне в воскресенье народу — невпроворот, не протолкаться, не протиснуться. Эмиграция циркулирует по Брайтону, круговращаясь. Гул стоит над Брайтоном от восклицаний. Здравуются, будто сто лет не виделись, прощаются, будто на век. Или отворачиваются друг от друга резко, того и гляди — голова оторвется и, хрустнув, полетит...

Почти все мелкие бизнесы оккупированы нашими. Вот — книжный магазин «Черное море». Маленький, уютный и чуточку жалкий. Характер покупателей выявляется на витрине. Характер владельцев — на полке: чернобелый портрет Эфраима Севелы. Так и хочется крикнуть: «Привет, о, «Одинокий бородатый волк! Хау ар ю?». Так и слышишь ответ: «Готовлю «Белый флаг», но сдаваться не собираюсь, пока не дотяну до ста изданий на разных языках. Последний роман будет «Четвертый Интернационал». Сюжет: евреи проигрывают немцам в очко Израиль, но тут немцы делают широкий жест и не берут Израиль, а берут меня заложником, чтобы я им снимал фильмы из половой жизни хасидов...»

Брайтон кипит. Жарко. Душно, потно, влажно, но одесситам и примкнувшим к ним — не жарко, а — некогда. Столько лет пропало зря, и надо бы их наверстать. Это трудно, однако, невозможно. Зайдите в русские продовольственные магазины. Евреи отовариваются. Это надо видеть. Это надо слышать. Это надо осязать, обонять.

А женщины! По-тря-саю-щие! Кожа — молоко с зарей впоремешку, полнота и плотность почти атмосферные. Зады — фантастические, а сзади и сбоку стоят тонкие и робкие мужья, и только у кассы они открывают рты, чтобы уточнить — сколько с них.

А дети! Жуют, не переставая. И все просят. И все получают. И от этого просят все больше и больше.

Сейлы-шмейлы — повсюду. Выгоревшие за три летних месяца этикетки возглашают «Пожарный сейл!» Еврей, ухмыляясь, говорит жене: «Слушай, они горят четвертый месяц. Четыре месяца у них пожар. Ты видела что-нибудь подобное?» Оказывается, жена видела. Она говорит, что у Шмуклеров пожар полыхает седьмой месяц, и неделю назад они купили дом.

Да, это не тысяча девятьсот семьдесят пятый год. В тысяча девятьсот восемьдесят первом году товарищу Владимиру Ильичу Пожарову здесь делать было бы нечего... Так ли? Нет, не так: то, что на виду, — жизнь, она бурлит, кипит, булькает, а то, что томится, тоскует, тянется назад, сидит по домам. А почему нет? Мы же разные. И вы же разные. И все же разные. В США особенно чувствуется, что жизнь построена на контрастах, на черном и белом, на деньгах и на их отсутствии, на любви и ненависти. И наконец — жизнь есть конкуренция, а значит — базар. Цены разные, мерки разные, вкусы разные, чувства разные, и что мне до Брайтоновского кипения, если Я хочу домой. Как это в песне у Миши Ножкина, хоть мама здесь, но «Я в Россию, домой хочу, я так давно не видел маму!» Одессу-маму или какую-нибудь мамулю с Малой Арнаутской? Из какого дома?

Много хотите, а хотеть надо еще больше. За хотенье с вас ноль рублей в круглых цифрах. Ой, как хочется домой! Что я там оставил, что я там забыл? Да ничего и все. Время лечит! Пусть лечит, я же ему не мешаю...

Ура! Мы открыли бордель! Русский! Адрес! Знаю, но не скажу! Мне мало? Нет, мне в самый раз, но если уже я там не стучал... По-дружески? Другое дело. Наклонитесь ухом. Вот так, но не пишите, а запоминайте... Черненькие? Да вы что? Это же наш, наш бардак! Русский. С еврейским акцентом...

Ура! Мы догнали США по ресторанам. У нас их уже на один больше! Кто ходит? Все! Все — это никто? Значит, никто, но деньги мы делаем.

Кто поедет на сорок вторую? Фильм — с ума сойти. Он ее — того, а после режет? Нет! Сперва режет, а уже после — того!

Эта новая колбаса — потряс! Миша съел вчера в один присест семьсот грамм. Без хлеба? Конечно, с хлебом. Как называется? Русская.

Водку пьем русскую! Хлеб жрем русский! Консервы — русские! Икра — русская! Баклажаны, кабачки в стеклянной таре — русские! Нарзан! Боржоми! Шоколадные конфеты — русские! Эти самые — русские, но по рецептам! Рецепты — русские! Где берем? Там же, где и все остальное — в Нью-Йорке...

На углу Кони Айленд и Брайтон авеню, возле газет, сига-

рет, жвачки — еврей ученого вида говорит еврею ученого вида: «Видите ли, нас все время упрекают, что мы лезем в чужую культуру. А что нам делать, если в чужой культуре всегда есть свободное место. Культура, как трамвай. Вот в нашей культуре в Израиле места нет. На весь Израиль пара трамваев и — битком, не втиснуться. А в литературу мы лезем? Конечно? А почему нет, если и там места полно. Кафка влез, Фейхтвангер влез, теперь Севела лезет. Вот напишет «Зуб мудрости» и все. Вы его лично знаете? Ну? Почти гений? Я так и думал. Вообще-то мы все чуть-чуть гении. У нас в Черновцах каждый пятый мог писать, как Кафка. Но у нас в Черновцах все получали посылки с Запада и некогда было писать. Все торговали шмотьем...

«Операция «Возвращение»? Что это? Аааа, да, да, да. Подумайте только...

**К РОЖДЕСТВУ СПЕКУ КУЛИЧ,
ПРИШЬЮ ЯИЧКО НОВОЕ —
БРАЙТОН БИЧ, АХ, БРАЙТОН БИЧ,
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОЕ**

Повесть уже написана. Все. Но тут попадают мне сразу две газеты. НРС от 22 августа и «Литературка» от 5 августа. И снова предпосылки к «Операции «Возвращение». И даже к «Операции «Конец эмиграции».

Израиль снова, вместо того, чтоб устранять причины, по которым советские евреи не желают туда ехать, провел акцию шантажного характера, т.е. силовой, но запрещенный прием: «Ага, вы не едете на родину предков! Живите, как хотите! Помирайте в Вене с голода!» Конечно, никто не даст евреям из СССР помирать в Вене с голода — ни американцы не дадут, ни австрийцы, но — нетерпимость вряд ли вызовет у трех миллионов евреев, проживающих в СССР, любовь к родине предков. Думаю, что советские граждане, бегущие от ежедневных изнасилований их душ, «возлюбят Израиль так же, как любят советскую власть». Ничем иным это не кончится...

Этой акции Израиля предшествовала заметка в «Литературке» — «В западне». Бедняга Е. Шинделькройт, проживающий в Нью-Йорке, затосковал по родине. Думаю, поехал в Вашингтон. Там сказали — нет! Он отгрохал письма в ведущие газеты на английском языке. Их не поместили. Тогда в «Литературку»

он отдал *оригинал*. В «Нью-Йорк Таймс» — копию, а Чаковскому — оригинал. И, конечно же, сердобольная советская пресса сделала то, чего не сделали западные газеты, а именно — изрыгнула на некачественную газетную бумагу некачественную ложь. Я бы даже сказал бред о том, как миллионеры насилуют наших женщин прямо на работе. А уж один случай — дикий полет коммунистической фантазии. Геннадия Резникова из Мукачева предъявили ультиматум: либо будет он спать с восьмидесятидвухлетней старухой, либо — окажется на улице (!!!) Каково? Но наш советский человек, проспавший с Софьей Власьевной (советской властью) шестьдесят четыре года, наотрез отказался от восьмидесятилетней капиталистической старухи и был ... выдворен на улицу (!!!). Ну, что тут сказать? Разве что: «Коли хочешь своей работой сделать спанье с женщинами — твоя воля, а раз спанье — работа, работай!»

Но самое умилительное и человеколюбивое в этой заметке — комментарии к ней. «ЛГ» сообщает, что автор «В западне» «человек далеко небезупречный, еще недавно он обливал свою страну грязью, но вот оно — горькое прозрение. И запоздалое!» Литературно. Эдакое нагнетание страстей: «Горькое прозрение. И запоздалое!»

Лет пять назад один еврей, главный редактор «Вечерки» Сема Индурский, побывав в Израиле, написал в газете другого еврея Чаковского статью «Запоздалое прозрение». Половина статьи была составлена из цитат, взятых из серии моих статей «Здравствуй, Америка!» Серия статей была антисоветской, а у Индурского, после советской обработки, и они превратились в агитку против эмиграции, против США. И было там тоже «Запоздалое прозрение», выведенное в название.

А ведь я с Семой водку пил. А? И он же мне плакался, что евреев обижают. И сам тогда уже выгнал еврея Марьяновского, нашего общего знакомого.

Ай-яй-яй, Сема! Как нехорошо! Я-то понимаю, что должен ты, и все равно — нехорошо. А как ты, Сема, Чаковского поливал? И ему же потащил свой опус, но спасибо, что меня ты называл все же не подонком, а — журналистом. Видно, вспомнил, как мы с тобой — без закуски... И девочки, помнишь?

«БЫЛА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ»

Начало шестидесятых. Весна. Час дня. Мы сидим впятером вокруг двух сдвинутых у окна столиков. Александровский пуст еще. «Эмки» еще. «Победы» и, кажется, уже «Волги» — весь этот



*Паша! Теперь-то точно на память. Твой Володя
2/10-73 года, Москва
Из книги «Владимир Высоцкий и другие»*



Галина Леонидова

*Как сказал Генри Миллер, «Татарин плюнул ей в кровь»...
А потом она вышла замуж за еврея и приехала в Нью-Йорк ра-
стить американца*



*Ростов. 1967 год. Стадион.
В центре: Муслим Магомаев, Павел Леонидов.
В группе двое из пятерки Степановых*



Владимир Высоцкий (1961 г.). Театр на Таганке — Джон Рид, «10 дней, которые потрясли мир».



Леонид Пубинецкий

Владимир Высоцкий

Из книги «Владимир Высоцкий и другие»

ЕВРЕИ



1981 год, Нью-Йорк, Квинс, Астория.

В гостях у А. Лившица.

Слева направо: Р. Лившиц, Э. Гольдштейн, А. Лившиц, И. Беккер, А. Вайнберг, С. Граник. Стоят — И. Копельман и Д. Гурин.



Колонный зал Дома Союзов

Слева направо: А. Левенбук, А. Лившиц, М. Гаркави, Д. Сагал, не врачи — Л. Утесов, И. Набатов.

ВРАЧИ — АРТИСТЫ

ВАГАНЬКОВКА В МОСКВЕ



Фото моего зятя — немца, Р. Шупца, русского, женатого на полукровке.

скромный отечественный набор машин прет мимо огромного, старорежимного окна.

Мы пьем. Не шибко, с закуской. Я и Игорь Шаферан при деньгах. У него нынче за сборник выпало, у меня доходы в то время с неба, но падали. Как дожди — то густо, то пусто. В тот раз было густо.

У нас в гостях Михал Аркадьевич Светлов, Юрий Карлович Олеша и Веня Riskин. Его отчества не знал никто, а сам он, наверно, его забыл. У нас — судак по-польски, лишь у Юрия Карловича — деволяй. Ему по зубам судачка бы, но хозяин — барин. В этой компании советов всерьез не дают. Мы с Игорем еще молодые, но я уже лысоват, а Игорь тогда был рыж, а нынче, думаю, выгорел.

Веня ест аппетитно, чавкает, облизывает пальцы, словно демонстрируя, что кровь у него красная и провинциальная. В данную минуту Веня доедает судака, а вместо хлеба кусает яблочный пай, оттого и пальцы облизывает. Меня коробит, не от его невоспитанности, а от небрезгливости. Надо видеть Венины пальцы. Веня вдруг изрекает: «Уходить из жизни надо только так: белая скатерть, графинчик, закусь и друзья вокруг. Римляне так уходили и нам велели... Юра, а ведь мы скоро того, уйдем. Ну, вы-то пошумели, а я словно и не был. На славу мне плевать, следов хочется, хотя следы и есть слава...» — он еще что-то сказал, что вот вроде их поколению почти пора. Светлов буркнул, жуя беззубым ртом картофелину, что ни чуть-чуть, ни почти — не считаются, а Олеша, глядя мимо нас, сказал громко: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». Редкий случай для него — цитировать кого-то. Он сам не только писал, но и говорил цитатами, а тут... Был он в потертом сером пиджаке, рукава пиджачка коротковаты, в черной рубашке — чтоб реже стирать, чтоб не видно было бедности, — брюк и ботинок сейчас не помню, но помню, что он и весенний день за окном были полной дисгармонией.

Нас было тогда пятеро. Троих — нет. Я — в эмиграции. Игорь — там. Так получилось, будто на тот весенний наш столик в «Национале» бросили крохотную бомбу. Замедленного действия. Троих подорвало, двоих разбросало. А ведь могли жить вместе все пятеро. Не такие уж они были бы сейчас старые.

В тот раз мудрый Светлов сказал пророчески: «Все больше и больше евреев ходят в «Националь». Это плохо кончится... Или — хорошо». Кончилось плохо и хорошо. Время утопило светловское «или». И оттого его дар прорицателя засиял ярче, однако, он мог прорицать только по поводу евреев. Он был русским поэтом, но он всегда был евреем. Плохим. Как все москвичи. Как почти все ленинградцы.

В двух столицах так ведется: русские интеллигенты объединяются, еврейские интеллигенты русеют. Сейчас этот опасный процесс как бы приостановлен. Но это всего лишь видимость, ибо процесс этот необратим. Еврейское беспокойство проникло в русскую кровь. Сие — закон природы. Нет арбуза без косточек. Нельзя, вызывая на иссохшую землю ливни, не промочить ног, когда они хлынут. Попробуйте, сидя у камина, не глядеть в огонь...

Уход — всегда грустно. Мне рассказывал первый директор моисеевского ансамбля Гриша Майстровой, отсидевший двадцать с лишним «за покушение на вождя», что он долго оглядывался, идя к станции, когда его «досрочно выпустили, реабилитировав». Душа щемила. Уходя, мы прощаемся не столько с кем-то и с чем-то, а — с собой. В лагере оставил Гриша более двадцати лет Гриши. Это ли не потеря — двадцать с лишним лет жизни, брошенные зря, исковерканные, искореженные годы?! ...

Мы тогда были впятером. После зашел Фрадкин. Подсел. Пижон — пиджак французский, туфли — итальянские, брючки отглажены — бритва, не складка. Рубашечка в полоску синенькую. Заговорил ни про что, а сам по столикам шарит глазами, высматривает «кадры»...

Он встал и ушел, а мы в тот день сидели до вечера, до музыки. Раза три напились, раза два протрезвели. Веня ругал Катаева. Не помню — за что, но помню, что в эту весну он избрал Катаева «своей жертвой» и ночевал у него. Катаев и не сопротивлялся. Да и никто Вене не сопротивлялся. Пошло это с легкой руки Бабеля. И — Федина. Веня ругал Катаева по-рискински — беззлобно, с юмором и с горечью. Эдакая сборная солянка обиды вениной. То ли жена Катаева сказала Вене, что руки иногда можно и помыть или что-то в этом роде, справедливое вполне, но — язвительное...

... Фрадкин выловил добычу и вышагивал с ней к выходу. Добыча была миловидной и весьма юной. Ноги — из глаз, нос курносый, зад курносый. После, уже в Нью-Йорке, увижу я таких негритяночек. И напишу этими же словами. И знаете почему? Когда б им волосы и кожу белые, у массы негритянок ужасно русские лица. Именно — не славянские, а — русские. Черт знает что.

Прошли годы. Евреи все больше и больше ходили в «Националь», и грянул гром. Сперва радостный, майский — начали выпускать. Светлов когда-то сказал: «Эмиграция — мать полудий». Не слишком литературно, но, увы, слишком литературно — тоже плохо. Брежневская «Целина» — вполне литературно, а тут время такое — надо выбирать между брежневско-чаковской целиной или мясом, ибо мясо в литературе необходимо. Разве

мы не едим котлет, а ведь котлета, может, еще вчера паслась на лугу в виде мяса, обтянутого кожей, и так далее, а яичница из двух яиц разве же не два желтеньких симпатичных цыпленочка?

Уж больно мы держимся за традиции. И не потому ли так много потеряли? Почему человек смертен, а традиция — нет?! Традиции — вожжи, а некоторые хотят, чтобы традиции держали в руках вожжи, управляя событиями. Чушь, видимо.

Традиционное, русское — одна часть интеллигенции не любит евреев, другая — их защищает от нелюбви. Есть ли защита от нелюбви любовью? Сложно ответить, я думаю, что нет, но я могу ошибаться, но и в любви, и в нелюбви, и в защите — традиции. Впрочем, эти, связанные с евреями традиции, и у других имеют место. Разве Золя не крикнул на весь мир: «Я обвиняю!» Вот решить бы раз навсегда, что сами по себе евреи, живые, небитые, несожженные, — традиция, и рухнули бы все остальные, связанные с этой темой... Тут видится мне мудрый прищур Василия Васильевича Розанова. Был он антисемитом. Был он антисемитом? По всему выходило — был. На бумаге. А в душе? Больно глубоко он копал, чтобы быть. А с другой стороны — кто знает, что у кого в душе, если не набросать это на бумаге. Черт, я так люблю писателя и мыслителя Розанова, что верю: в душе он не был антисемитом.

Но хватит. Хватит. «Операция «Возвращение» тянет меня продолжать, однако, прежде, чем возвращаться, надо хотя бы уехать. Или — хотя бы получить разрешение. И вот я его получил. И прошло дней двадцать. И я даже успел отправить две с половиной тонны своих книг. Еще ЦК хотел эмиграции, ее расширения, ибо получал от Запада «кэш». И книги выпускали даже и старые, за пошлину, конечно. Я заплатил одиннадцать тысяч пошрины.

Осталось до отъезда девять дней, и в запарке забыл я, что был приглашен на телевидение. На съемку передачи «Марк Фрадкин — в кино». Точней, его музыка в кино. По-моему, так.

Вдруг звонок. Звонит приятель из музыкальной редакции. Однофамилец Пастернака. И тоже — Борис, но, увы, — и близко не Пастернак. Работает или работал на ТиВи. Привет-привет. Напоминает, что такого-то, кажется, шестого, передача, точней — съемка. Я ему ляпаю, что отбываю. Так и увидел по телефону, как у него челюсть отпала. И трубку сразу шарк, не прощаясь. Однако, назавтра звонит мне Марк. Напоминает, чтоб не опаздывал. Он-то знал все про меня, правда, не знал, думал я, что разрешение получено. Я ему сообщаю, а он спокойно мне говорит: «Ты же еще здесь — раз. А два — ты же можешь передумать. И три — пока человек не пересек границу, он — наш человек. Так что — приходи вовремя».

И я, болван, пошел на съемку. Я и вообще-то не фотогеничный, а тут назло сам себе не побрился, а меня усадили между Мишей Ульяновым (Комсомольцы-добровольцы) и Элиной Быстрицкой (Комсомольцы-добровольцы). Я-то с Фрадкиным всего один фильм писал. В смысле — тексты к песням. В советско-румынский фильм «Песни моря». Я писал слова в этот фильм для Марка, а Роберт Рождественский делал подтекстовки к румынским песням. Их пел, по-моему, Дан Спотару или что-то в этом роде. Я по сценарию должен был рассказать, как здорово работать с Марком поэту-песеннику. А Клавдия Ивановна должна была спеть песню из фильма. Нашу «Так повелось». Она ее после фильма записала на «Мелодии».

Выступить мне не дали, но сидел я в самом малиннике. Слева направо снимали нас без конца: Быстрицкая, я, Ульянов, Марк и так далее. Была пауза. Было несколько пауз. То режиссерских, то дирижировали овациями зрителей. Ульянов был выпивши. Вдруг наклоняется ко мне Быстрицкая и шепчет во весь голос: «Это правда, что ты эмигрируешь?» Говорю, что да, спрашиваю, кто ей сказал. Она отвечает: «Сказал Шапорин, Феликс Кузьмич». Заместитель директора Малого театра, то есть зам. члена ЦК, народного-распронародного, совсем уже окосевшего, Царева.

Феликс — мой приятель. Он через Быстрицкую пригласил меня на завтра на прогон «Федора Иоанновича» со Смокнutowским. Я пошел. И рад.

А тогда, услышав вопрос Быстрицкой и мой ответ, Миша Ульянов достаточно громко сказал: «И верно. Пошли они трат-та-та!» Фрадкин повернулся к нам, поглядел не то гневно, не то укоризненно, а через четыре дня с любопытством сел я у телевизора смотреть передачу. В твердой уверенности, что меня вырезали. Однако, — нет! Сидел я злой, небритый, достаточно противный, особенно на фоне сияющей Быстрицкой. Вообще наше соседство на телеэкране многозначительно. Она на нем до моего отъезда появлялась дважды в новой роли советской еврейки, гневающейся на предательство евреев, отбывающих на родину предков. Эта роль ее была, пожалуй, самой бездарной. И я ее лучше запомню шолоховской Аксиньей. Или — врачихой в питерском фильме про участкового врача с «гением-академиком», которого играл Бондарчук. Гений был противным, хотя бы и потому, что играл его Бондарчук всерьез, а Эля была на своем месте, ибо играла она женщину, а женщина, надо сказать, она была прелестная...

И вскоре я уехал, улетел, умотал.

А месяц назад одна знакомая говорит мне: «Помнишь Феликса Шапорина?» «Да, а что?» «А то, что его сын — в Риме!»

Вот это да. И всплыло это оригинальное семейство. Милые, беспомощные очкарики. Трое очкариков. Русские мама, папа, сын в директорской ложе, а Феликс в директорской ложе всегда смущался. Это именно он, однажды рискнул и разрешил концерт Высоцкого. И — чуть не вылетел из партии...

ИЗ НОЧИ В НОЧЬ

Вторая ночь в Израиле. Первая ночь в Кирьят Яме. Море и небо. Они лежат возле друг друга бессонно. Бедные.

Им жарко. Они лежат под одной простыней, и он думает о том, что это впервые со дня их женитьбы, когда они лежат вот так, обнаженные, близко друг к другу и не хотят друг друга. Обычно первое же касание тел вызывало желание. В чем дело? Ведь все ужасно похоже. Они родились, выросли и поженились у моря. Он вспомнил их первый полет в небо за месяц до женитьбы. Сам полет помнился в виде абстрактного, страшно яркого холста, а вот приземление было потрясающим. У них вышла такая вещь: они оба, открывая себя друг другу, вообще открывали впервые эту сторону человеческого существования. Но как точен был их инстинкт. Какой компас сравнится с ним. Безумные корабли, они на дикой скорости ворвались в порт, пришвартовались и закачались на изумрудных волнах, и это качание колыбельное, качание корабельное было пронзительным именно от полярности состояний — до, во время и после. Это было неправдоподобно, и не верилось, что это может повториться, а когда оно повторилось, он подумал, что жизнь слишком коротка. Впервые так об этом подумал. Подумал и прильнул к ней, словно прижавшись к ней, он страховал себя и гарантировал себе бессмертие, а когда она, проявив инициативу, снова вознесла его, он уверовал в то, что бессмертие ему гарантировано.

Безумствовали руки, губы, ноги. Кожа была одновременно живительно прохладной и обжигающе пламенной. Он вспомнил сейчас, как нечаянно обнаружил у нее под левой грудью крохотный короткий шрам, хотел спросить, что это, но не было сил говорить. И нет, не сил не было, а любое слово в тот раз казалось ничтожным — и помехой чему-то, что выше человеческой речи. Его руки открывали миры, ее руки были лишними, но только сначала, а потом они стали волшебными и делали с ним, что хотели. Ее руки были отдельно от нее. Все было единым с ним, с его телом, а руки — отдельно. И это было удивительно: руки возникали из черноты ночи, из белизны простынь и тела, из ничего. Лучше всего ему было, когда — из ничего.

В ту ночь он впервые философствовал в паузах, слабея и становясь еще сильнее от слабости. Он думал, отчего это силы ограничены, а желания нет. После-то он убедился, что бывает в жизни и так, когда сил больше, чем желаний и это гораздо страшней.

Та ночь была душной втроене. Тела были влажны, губы сухи, а после — влажны и снова — сухи, и вся влага земли и неба, все дожди и грозы и жар пустынь служили им на неширокой постели, а в какие-то мгновенья ширина постели ему мешала, ему казалось, что это не постель, а пролив, поле, длиннющий мост. Как нехотя они отпадали друг от друга и как изнеможенно. Как стремительны были погружения в небо, как замедленны отпадения, как неохотны приземления, но нет, в ту ночь они ни разу не приземлились...

А сейчас она рядом, так же близко, как тогда, и как тогда кровать не широка, правда, теперь у них дочь, она в соседней комнате, наверно, спит. Отчего так сладостно и горестно вспоминать ту ночь, а не проще ли взять и повторить ее. Ведь они оба здесь. Вот они, и рядом — море, и ночь над ними почти та же. И оба они любят друг друга. И проложены все маршруты. Все было здесь, но ничего нельзя было поделать. Все равно, как разобранный механический игрушка: все части есть, но как их сложить? Нет, все сложено, ничего не разобрано, просто утерян ключик. Даже и не утерян, а брошен. К чертовой матери брошен, а теперь такая всепоглощающая тягость утраты и не потерянной, а брошенной...

С первого дня эмиграции был для него горек хлеб и Вены, и Рима, и Нью-Йорка, а вот теперь и Израиля. Горек хлеб и безвкусен секс. Мозгами, мыслями он хочет свою жену, но не может заставить себя сделать первый шаг. Видно, и она переживает то же, раз лежит, уставясь в потолок, не спит, и не дрогнет телом, а сердце, колотясь в ее правой руке, стучит в его левый бок, так они и лежат — сердце в сердце, душа в душу, тело в тело — груда золотистого хвороста, но нет во всем мире спички, — так он подумал, а она вдруг резко к нему повернулась, схватила за него, именно — схватила, а не охватила, не обняла, и — зарыдала... Странная история — слезы, как поток, как прорвавшаяся плотина хлынули и все смыли — так он успел подумать и ошибся, еще не ведая, что ошибся...

...Это было страшно. После было страшно. А во время—сумбур, когда физическое блаженство рассекала напополам дикая безнадежность, когда все время хотелось бежать и остановиться одновременно, и не было никакого неба, никакой земли, а была страшная заземленная тоска, и он, владея ею, чувствовал, как им владеет нечто потустороннее или сверхъестественное, нечто, что может пресечь блаженство и даже жизнь...

Еврейская ментальность? Русская ментальность? Чувство невозвратимой утраты? Обычная человеческая слабость? А какое имеет значение, как это называется. Мы, правда, не можем обходиться без ярлыков. Нам позарез нужны ярлыки. Мы, и по-кроме по-над пропастью, по-над провалом идя, думаем о ярлыках, рождаемся и умираем с ярлыками, хоронят нас и принимают по разрядам: разряды в ресторанах, в любви, в банях...

Операция «Возвращение», когда она разрабатывалась на Лубянке и утверждалась на Старой площади, конечно же, не предусматривала деталей, мелочей, людей. В этих организациях все решается глобально во имя счастья всего человечества. Ни больше, ни меньше, а о мелочах скромно думают, когда думают о себе и своих близких, хотя и у Брежнева лет десять назад любовница от рака умерла. Жена генерала. Она, когда уже влежку лежала, ему звонила по служебным телефонам, но так и не дозвонилась. А ведь он с ней, может, тоже побывал на небесах и не раз, а? Может, тоже лежал, взлетал, приземлялся, трепетал. Конечно же, было, и ничего нет страшного в том, что не брал трубку. У него заботы о всем человечестве, а рак, как факт. Упрям и ничего с ним поделаться нельзя. После Кишинева он научился пониманию сути власти. Власть многорука, чтобы брать и отнимать, а давать власть может только в порядке товарообмена. Или жизнеобмена.

Из космоса на землю возвращение возможно. А к нам на нашу родину трудней возвратиться, чем с того света. И слава Богу!

«РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ»

«Операция «Возвращение» была задумана в Москве, где великолепно изучена информация о российской эмиграции самых первых призывов.

Оттого в нашу «волну» швырнули так много литературных редакторов, пишущей братии, историков, юристов, марксистов и прочая. Расчет был точным. И себя оправдал, когда по Брайтону поползло: «Будут пускать назад!»

В расчет в Москве брали и «трудности трудоустройства» и «русскую общественность» за рубежом. А уж она себя показала во всем блеске.

В чем же тут дело?

А дело в том, что не только в СССР, но и в России *практически никогда не было никакой русской общественности!!!*

А посему не было ее никогда и в русской эмиграции ни в Германии, ни во Франции, ни в США.

Травили Цветаеву. Не печатали. Зато теперь они же юбилей ее отмечают. Гордились, что Бунин на грани голода, а они его у черты самой не сталкивали в пропасть, а подкармливали. И делали вывод вслух: уж коли Иван Алексеевич на грани голода жил, так вам и сам Бог велел. («Вам» — это нам).

Теперь они толкуют о единстве русской культуры. Какое единство? Бред поросячий, а не единство. Тут имена просятся, но не стану я, да и то, что русская культура за рубежом не поддерживала и не поддерживает русскую культуру за рубежом — полбеды. А вот душили, травили, грызли свирепо и дружно любого инакомыслящего или гордеца, а то и человека с самым нормальным чувством самоуважения...

Да что там тогда! А нынче? Уже и зубов-то нету у них, так они протезами, деснами! Уже и руки трясутся и ногти ломаются — плевать...

Вот вам две эфемерности, два блефа: «русская общественность» и «загадочная русская душа»!

Да, нету, нету их и не было во веки веков. Эти две призрачности — просто два преступных отсутствия.

Кстати, нет и еврейской общественности под знаком русской культуры, как нет и никогда не было в России загадочной еврейской души.

В той густой, роково висящей среде, все подменено инертностью, безразличием, послушанием... А любая инициатива — уже бунт и загадочная душа.

Вот взять нынче здесь, в эмиграции: где она и кто она — «русская общественность»? Если искать поименно и подейственно?! Солженицын — одна «русская общественность». Седых-Максимов-Горбаневская — другая, но возглавляемая немцем, магнатом каким-то газетным, и тут лезет и из памяти выпирает: «А ведь и Ленину немцы помогали Россию наизнанку выворачивать, — и есть это у Александра Исаевича в «Ленин в Цюрихе», впрочем, мы и до этого об этом были осведомлены».

Еще у нас здесь куча «русских общественностей», которые не только противостоят друг другу, ненавидят друг друга, забыв о России, но и высекают из своей «общественной деятельности» доходы личные, а посему душат друг друга с большей злобой. Травят А. Синявского Седых-Максимов и Ко, но он им не по зубам, он на них облокачился, перерос их, так они кого поменьше давят, да ведь могут и напороться. Учтя эту возможность, уже эта наша «русская общественность» начинает и мафию растить. А мафия в антисоветской русской среде плодится мелким частичком живо. Но и в мафии мы на тыщу лет от Запада отстали.

Правда, у нас была опричнина, но и она — вдогон. Однако убить уже грозят за слово...

В «русской общественности», на ее макушке елочной, и религия не в счет:

А. СЕДЫХ, ПИСАТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ,
ПЕРЕКРОЕН, ПЕРЕШИТ:
В ЦЕРКВИ — ПЕРЕПРАВОСЛАВНЫЙ,
В СИНАГОГЕ — ПЕРЕЖИД!

А можно и другую крайность:

А. СЕДЫХ — ПИСАТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ,
НЕДОКРОЕН, НЕДОШИТ:
В ЦЕРКВИ — НЕДОПРАВОСЛАВНЫЙ,
В СИНАГОГЕ — НЕДОЖИД!

Здесь, в частушке, «недожид», «пережид» — вовсе не оскорбление, но смысловая рифма, а смысл в ней тот, что «главные писатели и вожди здесь, в свободном мире для нас — слишком!», ибо они нам и там остоебенили через край. Все эти Федины и Фадеевы, но, если честно, положи руку на сердце, так вот вам: уж лучше Федин и Фадеев. Они-то — бандиты, но хоть — писатели. Они — такая же «липа русской общественности», но ведь «Города и годы», но ведь «Разгром», а что Фадеев помогал Сталину сажать, так возьмите кого из здешних в ту ситуацию, и — что?

Не так давно Павел Литвинов пытался заорать в тугое ухо мифической «русской общественности» о том, что вот Владимир Емельянович Максимов оскорбил всячески Андрея Донатовича Синявского и что, мол, должен Максимов извиниться. Чего захотел?!

СОБРАТЬ РОССИЮ С СИЛОЮ
И ...СТАЛО Б ВСЕ ПОПРЕЖНЕМУ,
НО — ЧЕМ СЕДЫХ С МАКСИМОВЫМ,
УЖ ЛУЧШЕ — СУСЛОВ С БРЕЖНЕВЫМ.

Да, Владимир Емельянович за годы «Континента» кого только не оскорбил. Высоцкого на тридцать седьмой день после смерти, не дождавшись сороковин, оскорбил наотмашь, правда, они оба православные, так что на том свете угольками, может, и рассчитаются. И за все эти годы Максимов всех оскорблял безнаказанно, разве что вот пить пришлось бросить — вона как российских алкоголиков лечить надо: вместо водки — власти, денег и топтать ближних — и они без зашива, без апоморфина и без больничек бросают, и делаются трезвенниками, ибо пьяны от власти, от топтанья, от денег!..

Ну, и что «русская общественность» по поводу письма Литвинова? А вот что. Захожу я в бухгалтерию Нового Русского Слова, а у двери сидит Седых с лицом убаженного сатира.

Возле него, точнее, напротив, — девочка. Я сел, жду его выяснить очередной конфликт. Этот писатель, несмотря на договоренность, трижды за полгода умыкал, ужимал, утаскивал из моего гонорара трехкопеечного по пятерке, а мне на пятерку плевать, но отвратно это, и обрыдло мне утираться. Сижу, жду деятеля; а он оседлал девочкин телефон и кокетничает властью своей желтопрессной, ибо как иначе выглядит демократическая газета, разговаривающая устами своего босса с уважаемым Павлом Литвиновым, изгилаясь. Понял я, что разговор идет о письме Литвинова по поводу Максимова. Литвинов — наивняк. Он-то думает, что рванув от КГБ, рванул от этих «русских» дел, ан — нет. Тут бывает и на том же уровне, а случается и почище! Седых вежливо эдак и игриво — девочка восхищенно плясится на сатира — поясняет Паше Литвинову, что не может он указывать Максиму, когда извиняться. Вот Брежневу он может. И даже Рейгену — может, а Максиму — нет, извините, не может. Максимов — бизнес, смычка, стачка, заговор, сговор, душиловка гонорарная совместная, а Рейген — всего лишь президент, а он, Седых, у Госдепартамента денег не берет. Он у своих нищих тянет, так что Максимова трогать — ни-ни!

Я слушаю этот почти часовой разговор, и стыдно мне! И что-то страшное опрокидывается на меня: я от Родины своей уехал к этому писаке-дельцу, который измывается над Литвиновым, а на самом-то деле не над ним, а над нами всеми!!!

Нет, надо было слышать и видеть этот разговор. Сатир то и дело довольно приглаживал «прическу», масляно глядел на девочку, подмигивал по-черноморски мне, как бы и в сообщники меня приглашая, чтоб помог я ему оплевывать себя.

Стыд, срам, горечь, и это — Седых, и в нем — «русская общественность»! Старая, ветхая, лысая, ухмыляющаяся, издевающаяся над русским «русская общественность»? И я еще, болван, попался: когда Седых рукопись вот этой книги, но без этой еще главы, разорвал, я письмо написал во все газеты и журналы. Ну, «русская общественность» оказалась, как и всегда, на высоте. Я-то ей цену знал, да сбил меня Довлатов. Сказал: пиши другое письмо, короткое и к «русской общественности». И я, кретин, адресовал. Плюнул против ветра...

Я тут занялся на досуге: частушки «народные» русские пишу. Написал такую вот:

ПОД ГУДКИ С УТРА РЫДАЕМ
И КОТОРЫЙ ГОД К ВОСЬМИ
ХУЙ БЕЗ СОЛИ ДОЕДАЕМ —
ВСЕ ЖЕ МЯСО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!

Так это мясо чертово, пресловутое — ерунда на постном

масле по сравнению с «русской общественностью», как там в СССР, так и здесь, в свободном мире. Что нет ее там, — понятно, а что здесь она такая, если и понятно, то страшно. И безнадежно становится за Россию: чем больше здесь подобной «русской общественности», тем меньше надежд там...

...Правда, спустя месяца полтора после выступления Литвинова в «НА», а не в НРС, где вся «русская общественность» располагается в одной мусорной корзинке редактора, выступил Борис Шрагин. Был он там честным человеком, таким и сюда себя довез, не расплескал, опровергнув тем самым домыслы, что, мол: «Был такой, а стал такой». Выступил Шрагин в «НА».

Этот «НА» — сложный случай, но надо отдать ему должное: отчего он такой и почему — его дело, но создал он своим существованием в глухой и тупой стене «русской общественности» — брешь, щель, пусть и узкую, но и в нее можно минометное дуло сунуть.

**«НА», ДЕМОКРАТИЮ ЛЮБЯ,
ВЫХОДИТ, УГОРЕЛОЕ.
В НЕМ САМИ ДЛЯ И ПОД СЕБЯ,
МЫ ВСЕ НА СВЕТЕ ДЕЛАЕМ.**

Я думаю: наше отношение к нашей общественности — наше отношение к нашей религии. Ну, кто еще на всем белом свете так постыдно легко отдал на поругание свою религию, свою веру, своего Бога? А потому нет и не будет у нас никакой общественности, а будет вместо нее у нас Седых, который и «наследником-цесаревичем» обзавелся. «Наследник» и вовсе «неграмотный», но у него в руках вскоре будет единственная в мире ежедневная русская антикоммунистическая газета и при ней — Литературный фонд — две последние жалкие кормушки для русских литераторов за рубежом. А нравы в Литфонде такие: у меня за четыре года было четыре инфаркта, а годы эти были крошечные — ни доллара из Литфонда, а стал ишачить на НРС и — двести долларов. Добавкой к гонорару газетному.

А тут приехала одна заслуженная женщина, пожилая, и ей почти год обещал Седых, «да никак собрать собрание не мог», а другим дает самолично и самовольно...

А мы сидим молча, перепуганные, с полными от ужаса штанами и почтительно глядим на главных, ожидая подачек. А надо, как Шрагин: послать этих Седых да Гулей куда подальше, не видеть ни их, ни их органов повисших.

И главное: не надо ни на кого надеяться. Только на себя!

И надо не уходить из американской России в США, а бежать, чтоб пятки сверкали. Бежать, сломя голову, подальше от «русской общественности»! Эдакая гнусность и гадость, даже

когда просто выговариваешь — «русская общественность!»*

В некотором плане «русская общественность» в США ничуть не отличается от всякой другой общественности, ибо в том месте сшива, где образуются спайки политики и возможности заработать на ней капитал денежный или иной, «русская общественность», как две капли, напоминает ту, которую весьма опрометчиво осуждает Солженицын, говоря, что коммунисты социально близки уголовникам. То есть, Александр Исаевич прав, однако, вся политика во всем мире так или иначе смыкается с уголовщиной.

В среде «русской общественности» в США новая, наша, третья «волна» подтвердила это. Происходит на ниве местной русской политики, которая в своей основе базируется и сосредоточена в периодической прессе, сшивка уголовников и газетчиков. В следующей книге я остановлюсь на этой тем подробнее, но и сейчас уже скажу, что сшивка, стачка, смычка прессы и уголовщины происходит не только за кулисами, как принято в добропорядочном буржуазном обществе, но и на страницах прессы, открыто, как в СССР в период Сталина.

Надо сказать, что, идя по этому пути, «русская общественность» имеет шанс приобрести мизерное подобие итальянской мафии. Но и это — лучше, чем глухое равнодушие, чем ничего. И потому, надо сказать: если пресса сумеет в связях с уголовщиной найти «модус вивенди», а грубо говоря, сумеет найти границу, очертить ее и остановить проникновение уголовного мира на разумном рубеже, возможно, эти связи на первых порах и пойдут на пользу прессе, которая уже и сегодня стоит наизготовку к захвату русскоязычного бизнеса от ресторанного дела (мафия) до проката советских (!!!) кинофильмов, а также шлягерных фильмов мирового кино (мафия).

Безусловно, пока еще не вся русскоязычная пресса завязала себя с уголовным миром, но дурные примеры заразительны. Да и дурные ли это примеры? Кто знает? Однако факты говорят о том, что и внутри прессы идет глухая борьба и победят те, кто не брезгует никакими методами. Это грустно писать и читать, но это так. И высочайшие моральные принципы лидера духовного Солженицына ничего не могут ни изменить, ни остановить.

А подведя итоги этой ситуации, можно заявить, что наша «волна» несколько ни умней, ни энергичней других «волн» из СССР, а просто время другое. И советский гангстерский опыт ничуть не уступает чикагскому двадцатых годов. Мы не застали «Сухого закона», но мы придумаем себе не один, а множество

* Так дешево, как в НРС, «русскую общественность» не покупали и в дотатарские времена.

«сухих законов». И пока основная масса наших эмигрантов будет работать, строя новую жизнь, вставая в США, кучка интеллигентов вкупе с уголовниками, станут образовывать «русскую общественность» примерно так, как делали это в России большевики во главе с товарищем Лениным, а А. Ф. Керенский и иже с ним, помогали этому процессу своим равнодушием, благодушием и глупостью.

Да, просыпается «русская общественность», но просыпается по-русски, с похмелья. Голова болит у «русской общественности».

Вот пишу и мучаюсь: нет языка, нет возраста, нет сил, а так сбежал бы в США, чтоб позабыть, потерять, перечеркнуть самого себя, а если и оставить самого себя, так среди грустной осени, в которой торчит занозой одинокая береза, а чуть подале, на взбеге — церквушка с обломанным крестом, еще дальше — нить горизонта, а на ней врезался густым гребнем в небо черный лес, и весь мир сечет мелкий косой дождик, а ноги тонут в грязи, и на душе хоть и слякотно, но светло, и не чувствуешь, как, подкравшись, пространство затягивает, засасывает, заглатывает тебя, но чувствуешь, что в безмерном этом пространстве нет совсем простора, а значит, можно жить спокойно: в капкане ты застрахован от ложных шагов. И вокруг — никого, и нет, слава Тебе, Господи, никакой «русской общественности» и в помине.

Тут уместна бы точка, но не терпится мне забить в главу гвоздь, сочиненный мною среди других частушек о нас с вами, друзья мои и недруги:

НА РУСИ ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО:
КАЖДЫЙ ВРОЗЬ СИДИТ В ДЕРЬМЕ!
ВМЕСТЕ МЫ ЛИШЬ НА ПОГОСТАХ,
НА СОБРАНЬЯХ И В ТЮРЬМЕ...

РУССКО-ЕВРЕЙСКИЕ ЧАСТУШКИ

На днях прочел: «Вышла в свет книга «Зуд мудрости». Черт, до чего здорово! После такого названия уже и книга не важна.

Это ж и автору «Зуба мудрости» — в яблочко и — всему еврейству — в десятку. «Зуд мудрости» — восхитительно.

И — до печени.

Толкуем об ассимиляции. Ассимилированные мы или нет? Проблема «намбер уан»! Как это выяснить? По языку, по культуре, по ностальгии. Не убедительно все это. Единственно — взять любого из нас опять же на стеклышко нынешней эмиграции и под микроскоп. Пробовали. Кое-какие выводы определились. Если, например, эмигрант попадает на работу в США в русскоязычную среду, показатель ассимиляции стоит на высшем пределе, и ответ: да, мы ассимилированы полностью. Например: журналист Борис Бочштейн, бывший сотрудник «Московской Правды», работая в Новом Русском Слове, остался точной копией самого себя, то есть — стопроцентно ассимилированного еврея, замешанного на всех прелестях советскости. Если в «Московской Правде» он был непримирим к Западу и искренен в своих писаниях и убеждениях «на все сто», так и ныне он искренен, когда поливает «Московскую Правду» и остальных ее сестер.

Принципиальная беспринципность есть по сути то же, что беспринципная принципиальность, а иными словами у Бочштейна и ему подобных ассимилированных любые величины с обратным знаком — не бумеранги, не противостояние, не анти, у них — идеологическая психология, которую в простонародье называют лизанием зада властям и власть имущим, а интеллигенты зовут — приспособленчеством.

Верно ли это все? Видимо, да, так как сейчас в еврейской эмиграции готовится к выпуску новая книжка «Русско-еврейская народная частушка за рубежом». (Не путать с «Неподцензурной частушкой»). Так вот, мне попало несколько штук. Я вам их приведу, так как они — Глас Народа.

К тому же эти частушки — самопризнание: кто пишет русские частушки.

**ТРАЛИ-ВАЛИ ПРОЗЕВАЛИ —
В НОВОМ РУССКОМ СЛОВЕ СЭР
КРУТИТ КИНОФЕСТИВАЛИ,
ПРОСЛАВЛЯЯ СССР!!!**

**ЕСТЬ У НАС ГАЗЕТА «АНТИ»,
ВО ГЛАВЕ НЕЕ ГИГАНТ,
НОСИТ В БРЮКАХ КРАСНЫЙ БАНТИК,
ТАК КАК ЛЫС ОН ДО СИХ ПОР.**

**В НОВОМ РУССКОМ СЛОВЕ ИЩЕМ
ДЕМОКРАТИЮ С ОГНЕМ.
В НЕМ ЯВРЕЕВ СКОЛЬКО МОЖЕШЬ,
ВСЕ — НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!**

КАЖДЫЙ В ПРОЗЕ ЗНАМЕНИТ,
КТО С ПРОСПЕКТА НЕВСКОГО,
НО ВОТ СУМЕЛ ЖЕ ЗАМЕНИТЬ
РЖЕВСКИЙ ДОСТОЕВСКОГО.

К ПОНИМАНЬЮ СКОР И ЖАДЕН,
НЕТ НА УМ ЕГО УЗДЫ —
ПОДПИСЬ ГДЕ — НАУМ КОРЖАВИН!
ОСТАЛЬНОЕ — ДО ПИЗДЫ

ЭСТЕТИЧКА И ЭТИЧКА
В СОИТИИ ВНЕ СПАЛЕН —
ЗНАТОК «ОФСАЙТОВ» ЭДИЧКА
И ПРЕОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ.

ГДЕ ВЕДЕТСЯ СЧЕТ ОТ СОТСКОЙ,
ГДЕ ВЫСОЦКИЙ НЕ В ЧЕСТИ,
СЦЕНУ ЖИЗНИ ТОПЧЕТ БРОДСКИЙ
КАБЛУЧКАМИ ТРАВЕСТИ

ГОРЕК КОРЕНЬ В ЦВЕТ ПШЕНИЦЫ,
САМ ЖИВУЧ, КОЛЮЧ, КАК РОЖЬ, —
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН,
НА РОССИЮ ТЫ ПОХОЖ

«КОНТИНЕНТ» — ЯДРЕНО РУССКИЙ,
С НАПРАВЛЕНИЕМ НА АВОСЬ:
В НЕМ ПОХМЕЛЬЕМ БЕЗ ЗАКУСКИ
ХАМСТВО ВОЛГОЙ РАЗЛИЛОСЬ.

ВОТ УЖЕ ВТОРОЕ ЛЕТО
У ЯВРЕЕВ — «РУССКИЙ ГЛАС» —
«НА» — ГАЗЕТА, КАК ГАЗЕТА,
ДЛЯ КЛОЗЕТА В САМЫЙ РАЗ.*

* Имеется в виду «НА» С. Довлатова, а не В. Перельмана.

У МОВО, КОГДА ЛЕЖИТ,
ВИСИТ ТРЯПИЦЕЙ БЕЖЕВОЙ,
А ТОЛЬКО ТРОНЕШЬ, ЗАДРОЖИТ
И СРАЗУ СТАНЕТ БЕШЕНЫЙ.

Я НЕ УЖАС КАК БОГАТА,
ТОЛЬКО, ЧЕСТНО ГОВОРЯ,
ПРОМЕНЯЮ Я С ПРИПЛАТОЙ
СКОБАРЯ НА ЕБАРЯ

НЕТУ РУСИ ДЛЯ МАРУСИ,
ДЛЯ МАРУСИ ДОЖДИК СЕР,
СЕРО НЕБО, ГУСЛИ, ГУСИ
В ЕНТОМ СЕРОМ ЭСЕСЕР

ПИСАТЕЛЬ ПИШЕТ И, ПСИХУЯ,
ЖИВЕТ ВСУХУЮ, КАК МОНАХ,
А У ТАКСИСТА, КРОМЕ ХУЯ,
КЭШ ИМЕЕТСЯ В ШТАНАХ

У АНДРЕЯ, У ЕВРЕЯ
ХУЙ ТОРЧКОМ ТОРЧАЛ, КАК РЕЯ,
А У РУССКОГО, У ЯШКИ,
БЫЛ ПОВЕШЕН НА ПОДТЯЖКИ.

В ЭМИГРАЦИИ ПОЭТОВ
ПЛЮНЬ — И СРАЗУ ПОПАДЕШЬ,
А ВОТ СТИХОВ, ЧТОБЫ ПРО ЭТО,
ОБЫЩИСЬ И НЕ НАЙДЕШЬ

ЗДЕСЬ, В НЬЮ-ЙОРКЕ, ВСЮДУ ПИРСЫ
С ДОБРЫМИ ПРИЧАЛАМИ,
А ИЗ РОССИИ ПИШУТ ПИСЬМА
С ГОРЬКИМИ ПЕЧАЛЯМИ

ВО МНЕ ЖИДЮГА ЧАСТО СПИТ
И ЗРИТ ЖАДЮГУ ХАИМА,
И Я С УТРА — АНТИСЕМИТ,
А К НОЧИ — ОТДЫХАЕМО.

УЕЗЖАЮ, РУСЬ СВЯТАЯ,
НАВСЕГДА И НАКОНЕЦ,
ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ,
ДО СВИДАНИЯ И ПИЗДЕЦ!

РУССКИЙ ДО МОЗГА КОСТИ,
ДА ТОСКА АИДОВА —
ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ ПРОСТИ
ПАШКУ ЛЕОНИДОВА.

(В начале будущего года книжка выйдет в свет, говорят. И говорят, что в ней все известные люди эмиграции не пропущены, а — «пропущены». Увидим, что будет. Мне, например, интересно).

Так ассимилировались ли мы в СССР? Бочштейн — да. А взять Мстислава Ростроповича — нет. И Михаил Барышников — нет! И множество людей, работающих в разных областях, от врачей и инженеров до бизнесменов и рабочих, — нет! Ибо нормальные люди могли бы жить или ассимилироваться в России, но не в СССР. В СССР вообще нормальный человек не может ассимилироваться, только согнуться или сломаться.

А культура и язык? Так они ж к коммунистам никакого отношения не имеют.

После войны пришлось отдать немцам Дрезденскую галерею как национальное достояние?! Пришлось. И нам, наверняка, вернут коммунисты и наш язык русский, и нашу культуру русскую, а уж их комментарии к тому и другому мы легко выбросим на свалку.

СПУСК С ГОРЫ

Операция «Возвращение» в том виде, как ее запланировали в 1975 году, заморожена. До лучших времен. Тому много причин. О них можно только гадать. И все-таки есть несколько предположений достаточно весомых. Скажем, не хотят никаких дополнительных осложнений с США. (В деле Тарло категорически не разрешили в телеинтервью даже упоминания Америки. То же — в статье «История болезни»).

Скажем, не хотят устраивать в США излишней возни вокруг эмиграции. Дело Зенькина и Ко — не провалилось ли потому, что Володя Зенькин «рвался на части»?

Скажем, поняли, что сейчас — уже поздно. Кстати, персональный воспеватель КГБ Юлиан Семенов опубликовал в газете «Правда» осенью 1975 года после посещения им советского посольства какую-то фантастическую цифру в тысячу и более человек, желающих вернуться. А сейчас сколько? Боюсь, не слишком много для операции «Возвращение». То есть: хотят «свеженькие», но пустят, поедут ли? Не думаю...

Все пушенные обратно в СССР с Запада и из Израиля сходят с ума и просят назад. Это — не домysel. Об этом в феврале 1976 года сказал В. И. Пожаров трем «своим клиентам», заехавшим к нему на новеньком «Монте Карло» узнать, как там дела с возвращением.

Эти трое уже не хотели возвращаться, а узнать хотели. И Пожаров, получив, безусловно, инструкции, сказал троим прямо и достаточно резко: «Да не ходите вы больше сюда. Никто вас пускать не собирается. Нечего вам там делать. Мы и с теми, кого пустили, не знаем, что делать. Они все назад просят. Ясно?!»

64 года советской власти оказались достаточным сроком, чтобы все русские захотели стать евреями, захотели, вопреки пословице, — чтоб их, назвав горшками, ставили в печь, то есть дали бы возможность смыться.

Конечно, я преувеличиваю малость. Даже еврей Кувент, продавав Запад, живет же, правда, в горах, и при советской власти. И — речи говорит. И возмущается Израилем. И США. И вообще. Дети его растут. Мама стареет. Жена стирает, готовит и тянет воз по горским обычаям.

И все же эмиграция нарушила гармонию. В потрясающее трагическое звучание Руси ударными инструментами ворвался октябрьский переворот, а сейчас вот жалостно флейта выводит: «э-ми-гра-цияя!».

Герои повести моей постепенно отпадают. Срывает их листьями с ветки: отпал Владимир Ильич Тарло, ибо он — в Израиле. Впустил его Израиль после всего и показал Израиль, что он к

своим добрей США. Они-то продержали в Риме ту старуху два года, помните? Об СССР я уж не говорю.

Да, так Тарло снова в Израиле. Живут. Вникают. Вбирают в себя страну. А страна вбирает их. Лея Словин из русского отдела Министерства абсорбции сказала: «Израиль умеет прощать». А я скажу: если Израиль умеет прощать — у него все впереди.

Значит, с Тарло ясно — через горе и кровь, через боль и страдания, через ошибки, которые лишь нетерпимость может назвать подлостью, они обрели страну проживания, ибо родину не обретают, так как человек может жить только вперед. У детей Тарло будет родина, храбрая, добрая, маленькая и гордая, а у Тарло будет страна, дважды открывшая им свои объятия.

Отпал В. И. Пожаров. Может, возникнет где-нибудь в бумагах западных разведок. «Папанинцы» в прямом смысле сходят с ума и просятся назад. В Израиль. Александр Александрович, настоящее имя которого я так и не знаю, сгинул, как Воланд. До срока.

Он может возникнуть где угодно и когда угодно.

Михаил Аркадьевич Светлов и Владимир Семенович Высоцкий? Умерли. Царство им небесное. Эфраим Севела — жив.

Я — болею.

Евреи, желавшие возвращаться, в основном, продолжают жить на Брайтоне, и в Квинсе, и в Верхнем Манхаттане. А кое-кто в других городах США. Все — не хотят на родину. Все — не любят ее вспоминать нигде, кроме колбасных магазинов и ресторанов. Но и рестораны русские потихоньку начинают гореть. Хотя меняют репертуар.

Альберт Иванов, зав. отделом ЦК КПСС, которого я собирался упомянуть, но не упомянул?

Он — на месте. Новом. Выше, чем был. Был — пригорком, стал подступом к вершине. В ЦК КПСС.

Теперь иногда он помогает евреям уезжать... Когда кому-то из отказников удастся узнать его фамилию и написать ему. Так что, отказники, записывайте: Москва, Старая площадь, дом — не помню номера, но не имеет значения, ЦК КПСС, заведующему отделом товарищу Альберту Ивановичу Иванову.

Недавно он помог выехать одной моей знакомой семье. Они — евреи, а с ними русская женщина, прожившая в семье сорок лет, воспитавшая детей и детей их детей. Кому Иванов помог? Русской женщине или семье евреев? Не важно, важно, что помог. Важно, что они все живут в Нью-Йорке. Я иногда пью у них чай. И они вспоминают его добрым словом. И из-за него даже и всю советскую власть не слишком ругают. И вообще не ругают. От этого я к ним редко хожу...

До ЦК Альберт был неплохим парнем. Может, даже — хорошим.

Сейчас, не знаю: хороший он или плохой. Скорее, всего — плохой. В ЦК до таких высот хорошие не добираются, да и само это определение для людей политики — плохие, хорошие — непригодно, неправомерно, неправомочно. В ЦК хорошим людям не место, но Русь с ее избушками на курьих ножках и с Иванами-дураками — не исконное тоже, а все же! — оборачивается чудесами. Может обернуться чудом. И на него — надежда. Наша надежда — слабая, негаснущая пастернаковская свеча под метелью. Упрямая свеча...

... В поколении Альберта Иванова и моем — под пятьдесят и за пятьдесят, четыре-пять лет, — есть загадки и надежды, но красной нитью есть ум, жесткость, опыт злой, жажда иметь, а имея — не дать вырвать...

Тоже музыкант несостоявшийся — Слава Лушин, начальник Главискусства, а после директор Большого театра. При нем рванул Александр Годунов, но тогда Слава только вступил на должность и ...уцелел. А вообще — любопытная штука. Консерваторцы, в основном, московские, несостоявшиеся как крупные музыканты, уходят в крупную администрацию и в политику. Глеб Александрович Щепалин, скрипач — «умывальников начальник» и командир всех советских художников. Бульдозеры, возможно, — его дело. Володя Ковалев — несостоявшийся консерваторец, он, правда, искусством в Министерстве культуры управляет. Володя Рыжиков — грампластинками эстрадными командует. (Заметьте и опять «Володи» косяком пошли. И выходит: после Мономаха, Святого и Ильича классический Иван уступает свое место под российским солнцем Володе, и оттого Русь чуть двигается к Западу, клонится к Западу, уходя от Востока. Решающую роль в этом, судя по времени увядания «иванов», сыграл Володя Ульянов-Ленин).

... Я все время ухожу в сторону и думаю: от темы ухожу, от операции «Возвращение» ухожу, ан нет. Все с нею связано. И все с нею связаны.

Ибо каждый из нас, уехавших, и каждый из нас, оставшихся, неразрывны. Мы оставили след в их душах, они в наших. Одним «прощай» здесь никто не отделается. Только наши дети уже будет отрезаны, но и они, встретив нового эмигранта отсюда, помягчают взглядом и сердцем и скажут: «Ооо! Май Гад!» — будут рады потрогать тех, тайком понюхать. И не поймут, чем пахнет от новоприбывших, а будет пахнуть сеном, говном, свежей землей, цементом и полынью — Россией...

Я все время в этой повести пишу: «Евреи, евреи, евреи». Конечно, это же повесть о евреях. Русских. Есть книги о немецких евреях. Об английских. Об испанских.

И выходит, что евреи бывают разные, и лишь в том числе «и русские». Русские евреи отличаются от прочих тем, что они — русские. Тут и язык, и культура, и жлобство, и достоинства, и недостатки. Все тут.

И есть особенности в нас — нетерпимость, недружелюбие, злобность и предательство, это — советское, но и оно — ноги из нашего, русского.

Мы ни к чему не привязаны, кроме, пожалуй, слякотной природы, друзей и знакомых. Потому, что жили в стране стукачей и предателей.

Мы говорим об американцах: «Они одинокие, они сидят по своим домам и квартирам, они ни с кем не общаются, они неначитанные и т.д.»

Конечно, им не так остро, как нам, нужны друзья и знакомые. Потому что они никого не боятся. Они не боятся, если им взбретет, говорить с кем угодно о чем угодно. И еще: они любят свою родину только за одно то, что она их любит взаимно. Вернее, эта любовь между гражданами и родиной начинается с того, что родина любит человека еще до его появления на свет. А в СССР любовь родины надо все время заслуживать, завоевывать и выпрашивать. От рождения до смерти. Поэтому все мы — неполноценные.

Отсюда в эмиграции — ностальгия, отсюда — возможность планирования операции «Возвращение». Мы — выродки. Мы должны любить нечто нас ненавидящее и, в лучшем случае, — терпящее и употребляющее нас.

Один американец сказал нашему, желавшему возвратиться и ругавшему США: «Ну признайте за моей страной хоть одно достоинство». — «Это какое еще?» — агрессивно спросил потенциальный возвращенец. — «Вас здесь никто не держит» — сказал американец.

А наша Родина держала нас, заставляла спать с ней, а если мы не могли, нас объявляли больными. Нашу импотенцию в ее адрес они объявляли шизофренией.

А мы не только не могли, мы уже не хотели. Мы просто разучились хотеть.

И мы поехали. И каждый, начиная новую жизнь, твердил: «Хочу хотеть!» Иными словами все мы говорили себе, что хотим научиться хотеть. И мы учимся. И это — трудно.

И у многих — не хватает сердца. И вся надежда у них — на душу.

И — на Бога.

Когда я задумал написать эту повесть?

В 1975 году. Во время первой поездки в Вашингтон. Начал ее писать в июне 1981 года. Почему? Потому что плод созрел. И время подпирало. Никаких Америк я в повести не открыл. И не

собирался. Но повесть необходима. Ибо, уверен я, с этой эмиграцией еще будут фокусы-покусы, запланированные КГБ.

Эта повесть — предостережение.

Вот ведь Валерий Кувент живет и благоденствует в СССР, а значит, можно, пожив в Израиле и в США, возвратиться и не повеситься? Конечно, можно...

17 июня мне позвонил один мой знакомый, живущий на Брайтоне больше семи лет. Он был среди тех, кто хотел, а сейчас он среди тех, кто не хочет. Даже слышать не хочет о возвращении, даже бледнеет при воспоминании.

Он позвонил мне и сказал: «Слушай! Sensация! Валерий Кувент со всем семейством и со всем хозяйством снова в Израиле! Ну, как?!»

Я ему не поверил. Но он клялся и божился. Его брат был с Кувентом в Вене 2 месяца назад.

(Отлистайте повесть назад, перечтите «речь Кувента», поглядите на его усики! Ну, поглядите!).

Я не поверил. Я просто не мог поверить. И никто не мог поверить. И я был уверен, что это — брехня. Такую байку мог придумать только Севела, но мой знакомый настаивал. Ему почему-то обязательно хотелось, чтобы я поверил. И он на меня кричал, ударяя гласные. Он тоже был с гор. Однако с других гор он был.

Он кричал в трубку: «Понимаешь, это правда. Истинная правда. Ну, поверь, поверь мне раз в жизни!» Как будто я ему не верил. Ему я верил. Я не верил советской власти, чтоб она выпустила Кувента снова.

И я позвонил Эфраиму. А он позвонил в Израиль Лее Словин. И она сказала, что, да, Кувент в Израиле со всей семьей. В сущности, это — конец.

Дописав, я начинаю понимать, что это — не детектив. И в то же время — детектив. Да еще и крупномасштабный! Почти глобальный. Просто я его не написал. Не написал? Но нет, написал, ибо, проследив все нити, даже и я, автор, не сумел проследить до конца одной и главной: — «А как же Владимир Ильич Ленин? Что с ним будет дальше?» И что происходит сейчас? В данную минуту. От ответов на этот вопрос зависят судьбы не евреев, но всех людей.

Этот конец, построенный на пафосе и даже — выкрике, хочу продолжить на пьяно: сейчас, 2 июля 1981 года, и 15 дней назад у меня был четвертый инфаркт. Между первыми двумя и вторыми двумя мне сделали операцию на сердце. Ближе впереди у меня что? Не знаю, но догадываюсь. И потому посвящаю эту повесть моему любимому сыну Василию. Ему сейчас девять лет. Он знает русский алфавит, но пока не умеет читать по-русски. Я, если успею, обязательно научу его читать по-русски,

ибо русский для него больше не родной язык, но — язык мира, на котором огромная в полнеба надпись: «Осторожно! Опасно для жизни! Для любви! Для совести и чести! Осторожно!»

Тот мир — земляничная, солнечная поляна, а ты бежишь по ней, и трава ласково щекочет лодыжки, а ты бежишь, все скорей и скорей, хмелеешь от запахов, а солнце шпарит в спину, и лес вокруг нежный, сквозной, звучащий, и ты бежишь и... попадаешь в ловушку.

Жапризо, французский современный писатель, назвал один из своих детективных романов «Ловушка для Золушки». Он опередил меня, и мне остается лишь повторить за ним вслед, в спину, вдогон, но — о стране, о России, ибо она — «Ловушка для Золушек», и — для всех с душою и сердцем, с верой, надеждой и любовью...

3 июня — 9 июля 1981 года
Нью-Йорк

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

На подступах к повести	5
Владимир Мономах, Владимир Святой и три Владимира Ильича	7
Белая книга	9
Академик Григолюк в Колонном зале	11
А мы просо сеяли, сеяли	15
Снова Белая книга	23
Храм и цирк	29
Советские биологи, советские идеологи, советские евреи	32
Иосиф бросает собаку	36
Ностальгия	37
Мьюдаг	45
Ленин на Броневице	46
И на Госдепартамент бывает проруха	61
Владимир Ильич Тарло	64
Сколько у нас евреев?	65
Что было, то было	66
Володя Высоцкий убеждается, что Бог есть	72
Фима Севела всплывает на поверхность	74
Немного о делах израильских	76
Я с КГБ на Пятой авеню	77
Владимир Ильич в объятиях КГБ	82
Я с КГБ в Вашингтоне	85
Тарло размазаны по стене	90
История болезни	92
Дружба народов	96
Любим ли мы сами себя?	101
А Катю-то Фурцеву отравили	108
У Андрея Седых	111
Передышка	118
«Бляха-муха»	119
Барьеры	126
Рай там — Брайтон	132
«Была без радости любовь, разлука будет без печали»	136
Из ночи в ночь	147
«Русская общественность»	149
Русско-еврейские частушки	155
Спуск с горы	160

ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВ

ТОСКА В ОБЛАСТИ СЕРДЦА

ПОВЕСТЬ



Русское книгоиздательство
«Нью-Йорк»
1982

Хочу поймать триппер!
Нечем!

Из меня
Бессмысленно биться головой в стену камеры. Если и пробьешь
ее, все равно попадешь в соседнюю...

Не из меня

ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ

Ночь. Темь. Улица в Москве. Идет здоровенный еврей. Сзади — два шуплых русских, подвыпивших. Один говорит другому: «Давай его изуродуем?» Другой говорит: «А если он нас?» Один отвечает: «А нас-то за что?»

Это понятно?

Непонятна та же ситуация: идет здоровенный еврей. Сзади два шуплых еврея. Один говорит другому: «Давай его изуродуем?» Другой говорит: «А если он нас?» Один отвечает: «А нас-то за что?»

Это понятно? Нет? Но это случается чаще, чем в первом случае. У нас и в нас все время живет неистребимое желание устроить самим себе погром, на худой конец, набить самим себе морду. И стоит ли после удивляться, что у других, глядя на нас, появляется такое же желание. Желания — заражны. Зайдите без надобности в писуар, постоит там минутку и убедитесь: желания заражны.

Седых и некто Вайнберг, белолобый бизнесмен, возжелали меня задушить. Задавить. Заставить замолчать силком. Не только вышвырнули со страниц своей газеты, но и запретили упоминать в тех печатных изданиях, что у них набираются. И печатать запретили в тех изданиях, которые они рекламируют, а рекламирует НРС почти все на русском языке.

Сам Седых попрежнему возмущается, что советская власть не печатает антисоветских произведений! Каково! А вот антисоветская русскоязычная печать (Седых-Вайнберг) антисоветские произведения не только сама не печатает, но и другим не дает. Во имя пустых, личных и неоправданных счетов. Так ругайте после этого советчиков!

Один ученый еврей сказал, что работает над темой «Тоска у животных». Поразительно еврейская тема для диссертации, не правда ли? В ней мы намешаны и размешаны.

Когда ученый сказал мне о тоске животных, я по неведомым ассоциациям тут же вспомнил потрясающее высказывание Генриха Гейне и немедленно полез в десятитомное собрание сочинений, чтобы изложить его мысль дословно. Увы, я застрял на «Германии». Мне стало не под силу выдержать столько мыслей сразу. Я так устал от чужих мыслей, что решил изложить Гейне своими словами...

Гейне сказал, что в нашем мире есть всего две нации, точнее, два мироощущения — греки и евреи. Греки — люди, которые, попадая в тюрьму, немедленно начинают ее украшать. Евреи — люди, бьющиеся головой об стену в любой ситуации...

Мне рассказал реббэ: как-то служка, стоявший в дверях синагоги и проверявший платные приглашения во время новогодней службы, не пустил одного безбилетного еврея. Тот просился, говорил о жене, что, мол, ее надо срочно вызвать. Служка смиловился и пустил еврея, заявив ему: «Ладно, сукин сын, иди на минутку, но если увижу, что ты молишься, я тебе голову разобью!».

Анекдот. Анекдот? Анекдот!

И выходит: если какой-то еврей, опровергая Гейне, не бьется головой об стену, сейчас же находится другой еврей, грозящий разбить ему голову...

А сейчас, я не знаю, почему, но, закрывая глаза, я вижу собак. Думаю про евреев, а вижу собак. Думаю про собак, а вижу евреев:

В последние десять-двенадцать лет все чаще и чаще на улицах Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и других городов можно увидеть великое множество странных собак самых разных пород, среди которых превалируют немецкие овчарки. Собаки, гуляя с хозяевами, жалобно скулят и как безумные ищут в толпе кого-то...

Это — собаки эмигрировавших евреев. Один на тысячу решается взять с собой пса в это далеко не сентиментальное путешествие.

Ах, как много мы оставили там!

Один человек поссорился со мной на смерть за то, что я осмелился ему сказать, что, став политическим беженцем в США, он больше не лауреат Сталинской премии. А он доказывал мне, что нет, он — лауреат, что ему даже в ОБИРе сказали, что он лауреат, правда, не Сталинский, а Государственный. А человек хо-

чет быть одновременно евреем верующим, русским неверующим, политическим беженцем, лауреатом Сталинской премии и гражданином США.

Человек не хочет понять, что у него таких денег нет и никогда не будет, чтобы оплатить свой багаж оттуда-сюда полностью. Наше прошлое — такой груз, какой не в подъем ни одному танкеру. Мы остались в полях, лесах, городах, в скверах, на кладбищах... Друзья, родные, сирень и немецкие овчарки, прапрапраматери которых были привезены нашими отцами и дедами из Германии после Победы. Может, это — те самые немецкие овчарки, а?

По нас там тоскуют наши немецкие овчарки, а мы здесь на свободе снова бьемся головой об стену. А когда кто-то из нас перестает биться головой об стену, мы норовим разбить ему голову...

Да, мы — не греки.

Однако, мы увешиваем стены свободы своими страданиями, стены тюрем — своими надеждами, и мы бьемся головой об стену — это правда. Но мы бьемся как правило, своей головой об стену.

Так говорят евреи. И у них разрываются сердца: да, им тоскливо без брошенных немецких овчарок, да, им трудно в Штатах, где всем, а им, честно говоря, не в последнюю очередь, все же легко; да, им плохо без берез, этим березовым евреям.

Так это выглядит, но факты... Вышла прелестная книжка Аркадия Львова «Бизнесмен из Одессы». Прелестная книжка, но сомнительно еврейская. Так много напора. Так мало души. Так много мыслей. Так мало сердца. Так много Земли. Так мало Неба. — Много земли с кусочком Неба. Это — вина не Львова, а его ментальности. И еще в этой книге ужасна первая глава. Не потому, что в ней Львов ругает советских евреев. Нет, нас отстегать не помешает, но не надо отдавать лозу американскому еврею. Во-первых, неправда, что он — умный, а мы — болваны, а во-вторых, у американских евреев — забот полон рот. По перевоспитанию своих... Ох, как надо о них говорить. Вот они — почти греки в смысле украшения стен. Пусть, не тюремных, но стен, стен, стен.

У Львова американский еврей Слоум упрекает нас почти во всех смертных грехах, не замечая собственного, непростительного для еврея греха — он же просто болван. Он все время говорит: мы думали, что вы то-то и то-то, а вы, оказывается, то-то и то-то. Они думали, а мы виноваты. Мы-то себя знали с пеленок. Мы рождались под честным пионерским имени всех вождей. Мы-то знали, что все советские люди вместе с нами — лжецы. Они с нами, а мы с ними — равнодушные, бездушные, пустодушные люди. Да, если бросить на одну чашу весов нашу еврей-

скую ментальность, а на другую — нашу советскую сущность, ментальность взлетит с чаши, как ракета, так-то вот, мистер Слоум, и мы это знали, а вы — открываете нас. Зачем и кому? Себе — пожалуйста, но не нам, а то мы вам откроем вас, не лично, а американских евреев, которые — отличные евреи, наверно, хорошие американцы, надо думать, но это не мешает им биться головой об стены лучшего государства с такой силой, что бывают моменты, когда оно может дать трещину.

Мы-то плохие, так что с нас взять, мы ж — советские, а вот вы почему плохие? Вы ж — американские, и все равно — плохие. Не все, конечно, однако сколько среди вас либералов, радикалов, коммунистов, недовольных, слепых, глухих и прочая???! Кстати, мы тоже не все — плохие...

Вам бы сидеть по своим домам после работы и наслаждаться: дети в университетах, жены в бриллиантах, сами в полном порядке, деньги ваши в банках, машины в гаражах, свободы кругом невпроворот, но вам беспокойно. Вас что-то мучает. В вашем кресле — гвоздь. Вы вскакиваете, ибо вам не сидится, не лежит, не стоит, и вы начинаете биться головой об стену: голова, которой бьются все время об стену, рано или поздно может помутиться, и вот вы уже критикуете США и — хвалите СССР. Когда б вы ехали туда, как некогда ехали американские евреи к товарищу Ленину строить царство Свободы, — ладно, а то ж вы туда не едете, а сидите в США, хвалите СССР и походя ругаете нас. Впрочем, вы ругаете нас за свои деньги, а у нас на Руси говорят: «Кто тебя ужинает, тот тебя и танцует». Так что — валяйте, ругайте нас. Если это и несправедливо, зато безвредно, безопасно, бесполезно. Впрочем, все, что бесполезно — безопасно. И — наоборот. Вот все, что полезно, — страшно. Все, что вредно, — привычно.

Конечно, в любой книжке — лучше хвалить евреев, чем ругать их. Ну, во-первых, — принято, во-вторых, — респектабельно, в третьих, — дипломатично. Ругать евреев, согласно хорошему тону, удобнее всего самим евреям. И мы стараемся вовсю. Мы себя рисуем такими идиотами, что просто ужас. Мы себя делаем такими гениями — аж жуть, как пел Высоцкий про нечисть, а сколько мы изводим на себя черной краски?

Столько, что на все остальное человечество уже не остается, и они все либо красные, либо белые, либо черные, но только — не черные...

Мы — мазохисты. Не только на словах.

И главное — нынче мы уже не греки и не евреи по Гейне. Нынче мы евреи, которые среди всех битых совершенно не успокоились даже на нынешних страшных рубежах. И за это — вечный нам позор! И — вечная слава. Аминь.

ПИСЬМО В ПАРИЖ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОЖА ШАХОВСКАЯ!
ГОСПОЖА ИЛОВАЙСКАЯ-АЛЬБЕРТИ!

Это — открытое письмо.

Вы обе когда-то тепло ко мне отнеслись. Вы обе имеете прямое и неотрывное отношение к русской литературе, к русской прессе. Поэтому я пишу Вам это письмо. А может, и не поэтому, а потому, что женщинам жаловаться легче и достучаться к женщинам легче. И женщины могут и чужую беду, и обиду осмыслить глубже. Тем более — пишущие и редактирующие.

Мое письмо и не крик, ибо в нашей эмиграции кричать бессмысленно: почти все уходит в вату бездушия, будто кричишь против ветра. Невозможность выхода в мир из России, даже покинув ее, оставляет многих из нас в произволе, и тогда возникает: меняя клетки и тюремщиков, нашли мы хоть что-нибудь здесь или просто поменяли ненависть на ненависть?

Теперь о причинах письма.

Месяц назад попал я в госпиталь с четвертым инфарктом. И за этот месяц записал повесть — «Операция «Возвращение». Повесть о том, как трагически трудно ломается в нас советскость — по задаче, а по сюжету — детектив из эмигрантской жизни.

1975 год. Советское посольство и миссия при ООН организуют по заданию Москвы достаточно большую группу желающих возвратиться. Повесть о судьбах тех, кто был впущен. Все герои повести от шпиона Владимира Зенякина до писателя Андрея Седых реальные.

Повесть — ответ на «Белую книгу», изданную в СССР в 1979 году.

Седых знал, что я пишу о нем в повести. И поощрял меня.

Три недели назад я отдал рукопись в издательство при Новом Русском Слове. Прежде чем передать рукопись в набор, я зашел к Седых и предложил ему прочитать повесть или хотя бы главу и проходные места о нем, однако, он, уже классик, руками замахал: «Ну, что вы, что вы, Павел Леонидович! Как это можно! Чужую рукопись! У нас ведь нет цензуры! Это вы там привыкли! У нас свободное издательство! Одно правило и есть — просоветское не печатаем. А так — что хотите! Да еще порно-

графию ни-ни!* — и снизошел потрепать по плечу, провожая. Знал, что в рукописи нет и не может быть ни просоветского, ни порнографии, ни антиредакторского...

И я понес рукопись. И все было хорошо.

Через две недели девочка-наборщица добралась до главы «У Седых», а тут он возьми и зайди в наборную. Ему и подсовывают, мол, глядите, о вас глава. Он взял страничку, прочел, чуть заулыбался довольно, а после сразу и вдруг сошел с лица, помчался в кабинет, выскочил оттуда, как ошпаренный, потребовал рукопись...

Мне жалко Якова Моисеевича. Видно, сдал он. А был ведь недавно совсем элегантным парижанином. Прононс, манеры, да и нынче еще шарм, обаяние, когда хочет.

Я иной раз зайду в кабинет к нему без стука и поймаю — отключенный, страшно усталый человек, ужасно боящийся сомкнуть глаза...

И мысль больше не упруга, не пружинит, но — проломна, когда доходит до хотений. Хитрость стала примитивней, грубей, утрата тонкость и грани. Глаза уплывают, топя зрачки. Руки тянутся прикрыть грудь. Обувь делается тесней. И, глядя на это, становится грустно и больно: такое неординарное дерево сломлено, и ладно бы бурей. Или — бурей?

В повести хотел я, чтоб был он, как восемь лет назад, когда познакомились мы. Тогда он гнул успех, чтоб оборвать его, а нынче уже успех согнул его и обрывает.

В позднем успехе — перепады. Когда бы ввысь к успеху не круто враз, как в самолете, черезчур быстро набирающем высоту. А так круто — глохнут уши в самолете, а в успехе — душа.

Устал Седых, но это не возраст, нет. Это — другое. Может, тоска острая по жизни и книгам, которые уже не переписать...

В повести всего этого не было, это опущено было в повести под влиянием социалистического реализма, все еще дышащего на нас жарко и хищно. Впрочем, на нас ли одних?

Отвлекла меня лирика.

Значит, прихожу я в НРС во вторник 21-го июля. Захожу, как обычно, первым делом к нему, а он, не отрывая глаз от незаряженной пишущей машинки, вкрик гонит меня из кабинета, из помещения газеты, со страниц газеты, предлагая немедленно забрать все свое. Ну, были еще вполне цензурные слова, оскорбительные и угрожающие. И ему меня не жалко, а мне его — жалко. Я ему даже и не ответил, а Фурцевой, все же министру, отвечал.

* Нынче уже прячется Седых за неправдой, мол, мы ему (мне) даром хотели набрать. Даром — по 6 долларов за безграмотную страницу, с моей корректурой. И если даром — так рви!?

Я — человек горячий, несдержанный, а тут — сдержался, еще не зная, что мне уготовил Седых. А сдержался я не из-за опаски за себя, а из-за него. Был он лицом бел, и обрюзгшая кожа почему-то втугую натянулась, а пылали лишь мочки ушей и кончик носа.

Вышел я, прошел к заму его, Соколову. Тот вернул мне принятые и отредактированные рукописи. Пачку целую. И был он грустен, приветлив и полон сочувствия. Так мне показалось. Может, по контрасту с боссом...

Все отдал мне Соколов, а статью юбилейную о Высоцком, называвшуюся «На грани, на пределе, на краю» — не отдал. Сказал — эта статья будет в воскресенье. Но не было, конечно, статьи. А ведь статья была не просто, а оговоренная, заказная как бы — и тут начал видеть я Седых не пожилым, что-то перепутавшим, сбившемся со времени человеком, а «Гад Фазером» — было мне два звонка — один анонимный — и еще разговор в лоб, что ежели повесть издам в первозданном виде — пожалею горько, а еще обязан молча пилюлю проглотить, и тогда со временем дадут мне чуть воздуха. Не жить, но подышать малость.

От Соколова пошел я, как было мне указано, к менеджеру. С ним вместе был начальник производства. Оба глаза долу, — словно стыдно им, а я-то не знаю, чего им стыдно. Лезет менеджер в стол и достает из него пачку ключев, изорванных довольно мелко, скомканных и, по-моему, топтанных, а уже дома обнаружил я, что нехватает кусков.

Поглядел я на то, что было рукописью, ничего не сказал, вышел и отправился домой. Иду я по тридцать четвертой улице по жаре истощной, но снова жалко Седых. Глупость какая-то, верно же?

Представил я себе, как писатель, журналист, председатель всяких фондов, борец за свободу, правду и справедливость рвет в ключья чужую рукопись, доверенную его издательству, данную в издательство не за благотворительные или просветительные дары, а за наличную оплату... И рвет он рукопись не почему-то, а привиделась ему обида личная...

Неужто не мог понять по разумению своему, что если и обидел я его чем, так без умысла. Иначе к чему потащился бы набирать повесть в его вотчину. Да и знает он, что деваться мне помимо НРС с моим-то здоровьем — некуда, а здесь гроши жалкие, но платят. Все же знал он, добряк, что живу вдвоем с малолетним сынишкой... Мог же он все это взвесить? Нет, скорее, не мог...

И я сроду не стал бы предавать огласке эту историю, когда б ни одно соображение: ведь стоит он, хочешь-не хочешь, во главе русской периодической печати за рубежом. На перекрестке

русскоязычной прессы стоит, как бы и регулируя. И нельзя оставлять его рвать чужие рукописи. Нельзя...

Я понимаю, что семьдесят лет ждал он своего часа, своей газеты. Получил в семьдесят, и помчался нагонять и обгонять самого себя. Погнался наверстать время, будто это возможно. Понесся рассчитаться за унижения, пресмыкательства, горечь. Все это понятно по-человечески. А с другой стороны, к чему на выходе, на выдохе еще тшиться оборотить вспять хоть что-то, встать грудью против факта? Зачем?

Я понимаю, ему обидно, что симпатичные девочки в наборной, читающие его олимпийцем, вдруг прочли, что он — человек. Прочли написанное кем-то от подножия, что Зевс — просто усталый человек. Так ведь правда, что усталый. И это ж здорово — жить, писать, властвовать, пусть и мизерно, в таком возрасте. И разве плохо получить даром неприкрашенный, уважительный и добрый портрет?

Однако в связи с этой грустной историей во мне все больше удивления, все меньше понимания. Я не перестану удивляться человеку, прожившему более шестидесяти лет на Западе и рвущему чужие рукописи в злобе. Я удивляюсь: читал же Яков Моисеевич Михаила Афанасьевича, что рукописи не горят. Даже рукописи и не Мастеров не рвутся, не топчутся, не изничтожаются, если есть в них Слово. А Слово есть в каждой, ибо Книга одна, а книг много, и они разные. Плохие, хорошие, но отделить и определить их может лишь Время, а не редакторы-бизнесмены, о чем ратует и сам Седых в своей газете.

Вот написал я «в своей газете» и вспомнил, как мне объясняли правила игры в НРС: «Павел Леонидович, да поймите же вы, что газета вся его, до копейки».

А я уверен, что и в мире частной собственности нельзя единственную русскую ежедневную газету, антикоммунистический авангард, оставлять без присмотра, хоть она и чья-то «до копейки». Я понимаю, что прибыль — его. А антикоммунизм и борьба — наши должны быть, а иначе какого черта было уезжать из страны однопартийной печати?

А как же делается антикоммунистическая газета НРС? Любая целенаправленная статья выверяется по критериям: чтоб русские не обиделись, чтоб евреи не обиделись, чтоб латыши не обиделись и т.д., ибо все они покупают газету. Чтоб не обиделись держатели ресторанов и прочих мелких бизнесов. Чтоб не обиделись доктора.

Книготорговцы, рыботорговцы, мясоторговцы, фруктоторговцы и прочие «овцы», чтоб, не дай Бог, не обиделись. Конечно же, чтоб диссиденты не обиделись. Инвалиды и здоровые, живые и мертвые чтоб не обиделись и выписывали газету. А антиком-

мунизм? — На оставшемся месте с вышеприведенными оговорками. А как это, скажите, заниматься антикоммунизмом, чтоб не обиделись ни русские и ни евреи?

И я думаю опять и опять и удивляюсь снова — ну зачем ему было все это? Ведь я охотно поправил бы, что обидело его.

И удивляюсь: что ж это с ним? Видно что-то нехорошее, чего не нашли в последних обследованиях, что-то, чего вообще медики не находят.

Я-то болен много лет, и мне не страшно. А ему — страшно.

Это письмо — в газету. Напечатаете Вы его или нет, оно — открытое.

Искренне с любовью к Вам обоим,
Павел Леонидов

ТОСКА В ОБЛАСТИ СЕРДЦА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ
ПИСЬМО В ПАРИЖ
КАКОЙ ВЫ ЕВРЕЙ, БРЕЖНЕВ? ВОТ АНДРОПОВ — ЭТО
ЕВРЕЙ!
МЕСТЕЧКО НЕПОДАЛЕКУ ОТ ФЕОДОСИИ
ЕВРЕЙСКИЙ БУТЕРБРОД
УЛИЦА КУЙБЫШЕВА
СТАРЫЙ ПАРИЖ
НА БЕРЕГАХ АХЕРОНТА
ШЕКСПИР — ЕВРЕЙ! ИЛИ?
У РАБИНОВИЧА, КОТОРЫЙ — В ПОИСКАХ ЗА УТРА-
ЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ
КГБ ВИДИТ СНЫ
И ЗАВТРАКАЕТ С ВОДКОЙ
ТРИ КИТА ЭМИГРАЦИИ
ОМУТ ИНТРИГИ
АПОСТОЛЫ В МАССАЖНОМ КАБИНЕТЕ
КАК ВАРИТЬ БУЛЬОН ИЗ ЯИЦ
РЯДОВЫЕ ГОСПОДА БОГА
В. В. РОЗАНОВ — А. Д. СИНЯВСКИЙ:
ПАРТИЯ ЕВРЕЯМИ В ШАШКИ
СЕНБЕРНАРЫ ИЗ КАСРИЛОВКИ
КОЛОДА В РУКАВЕ
ЕВРЕЙ ЕВРЕИЧ ВОДКОПЬЯНОВ
ВОЗДАДИМ КНЯЗЬЯМ ПО-ЦАРСКИ
ЧАСТУШКИ
МОРЕ БЕЗ БЕРЕГОВ
БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
БОГ НА БАЛКОНЕ
СИРЕНЕВЫЙ СНЕГ НА СОРОК ВТОРОЙ ПАРАЛЛЕЛИ
ПРОЩАЙТЕ, МИСТЕР ДЖОН ПАССОС
ОТВЕТ ИЗ ПАРИЖА
ТОСКА В ОБЛАСТИ СЕРДЦА

РУССКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «НЬЮ-ЙОРК»

В продаже:

Анатолий Мариенгоф

**Роман без вранья
(жизнь С. Есенина)**

1979 г.

Цена — 10 долларов

Павел Леонидов

Операция «Возвращение»

1981

Цена — 12.50 ам. долларов

Находятся в наборе:

Павел Леонидов

Владимир Высоцкий и другие

1981 г.

Цена — 17.50

Павел Леонидов

Русско-еврейская частушка

1982 г.

Цена — 12.50 ам. долларов

Пересылка в США и Канаду — 1 доллар

Заказы высылать по адресу:

Pavel Leonidov

**Post Office Box 1257
Madison Square Station
New York, N.Y. 10159**

ВНИМАНИЕ!

Дорогой читатель!

Выпуская эту книгу, русское книгоиздательство «Нью-Йорк» уверено, что вся или почти вся русскоязычная пресса за рубежом откажется рекламировать эту русско-еврейскую, еврейско-русскую, антикоммунистически-коммунистическую, коммунистически-антикоммунистическую книгу, и мы просим Тебя помочь нам: если повесть тебе понравится, сообщи о ее существовании друзьям.

Они могут сказать Тебе «Спасибо!»

Они могут сказать Тебе нечто противоположное.

Они могут перестать с Тобой разговаривать, что плохо и хорошо — одновременно.

Хорошо, потому что Твой английский пойдет в гору, плохо, потому что Твой русский пойдет с горы. Впрочем, это, возможно, не так-то плохо.

Заранее благодарим Тебя за помощь

Русское книгоиздательство
«Нью-Йорк»
1981

СТРАННИК

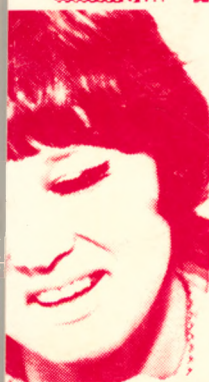
Папу Леониду,
замечательному писателю,
автору „Менчиче-Сохани“
с признательностью
за словесные его
труды и их человечность.

Срещик

май 1981.



Efraim Sevela



Насильственная депортация

VOL. XXVII, NO. 45

NR

NATIONAL REVIEW

with President Somoza.

R. *for Phillips*

Dear Mr. Pavel Leonidov,
Wonderful effective!
William F. Buckley Jr.

Акты насильственного во-
вез в Израиль властями за-
государств представляют
форм поддержки между-
зиса в Иерусалиме Тель-Авива
ва человека. В наручниках
в Израиль из Западной Е-
ный и Виктор Курт, свид